

A woman with blonde hair, wearing a long, flowing blue dress with a white patterned shawl, is walking up a set of stone steps. The steps lead up a hillside covered in moss and small plants. To the left of the steps is a large, ornate stone planter filled with green foliage. The background is a dark, misty forest with bare trees. The overall atmosphere is mysterious and ethereal.

Татьяна Свичкарь

Двойные двери

Татьяна Свичкарь

Двойные двери

«Издательские решения»

Свичкарь Т.

Двойные двери / Т. Свичкарь — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-501112-1

Дверь-обманка в старой усадьбе, куда она ведёт? В Тонкий мир. Причем непредсказуемо — то в свет, то во тьму. Войдя в эту дверь, можно вернуться назад, но уже совсем другим. В темную дверь случайно входит дочь новой хозяйки, а перед нищенкой, живущей в усадьбе из милости, делающей всю черную работу, открывается дверь в «Город золотой», ведь она — последний потомок настоящего хозяина усадьбы.

ISBN 978-5-00-501112-1

© Свичкарь Т.
© Издательские решения

Содержание

Двойные двери	6
Глава 1	6
Глава 2	15
Глава 3	19
Глава 4	24
Глава 5	31
Глава 6	39
Глава 7	42
Глава 8	46
Глава 9	50
Глава 10	54
Глава 11	59
Глава 12	62
Глава 13	66
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Двойные двери

Татьяна Свичкарь

© Татьяна Свичкарь, 2019

ISBN 978-5-0050-1112-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Двойные двери

Глава 1

Конечно, ему открыла не хозяйка. В таких домах, как этот, хозяйки не торопятся к двери, услышав первый звонок гостя. Для этого есть прислуга. Но и прислуга бывает разной. Достаточно бросить взгляд, чтобы многое понять тех, кто здесь правит и владеет.

Кто-то гонится за внешним лоском. Ему нужно, чтобы все – от горничной до садовника – «соответствовали». Прежде, чем сделать окончательный выбор, такой хозяин перебирает «резюме», присланные из агентств. Какое у кандидатки образование? Рекомендации? А языки будущая «Глаша» знает? Если знает – хорошо. Такую можно и в Европу с собой, при случае прихватить. Потому что сам хозяин если и знает по-английски «бэ», то на «мэ» его уже хватает, приходится на пальцах объясняться. А ноги у Глаши достаточно длинные? И на переезд она согласна? Потому что кто же будет из их села (своеобразной Волжской Рублёвки) каждый день пилить в город за полста километров-то? Тем более, что услуги Глаши могут потребоваться и ночью.

Второй вариант называется «проще некуда». Нанять в прислуги кого-то из местных жителей – и дешевле, и надежней. Тётке, которая пришла узнать про место, и поспешно стягивает в прихожей резиновые сапоги – можно платить в пять раз меньше, чем городской фифе в белом передничке. О городских зарплатах тётка даже не мечтает – это для неё что-то астрономическое, вроде расстояния до Сириуса. А за те десять тысяч, что ей тут пообещали, тётка схватится двумя руками. В городе с работой туго, месяцами искать можно, а тут – тем более. Устроиться в магазин или на почту – очередь стоит – из дедок, бабок, внучек и жучек. Есть в селе спиртовой завод, старый, ещё до революции построили. Но туда своя очередь – сплошь из мужиков.

У Котовых прислуга была как раз не Глаша, а тётя Маша Вдовина. Она и открыла Антону, и он вспомнил, что уже не раз встречался с ней на улицах. Сельским врачом он стал всего пару месяцев назад. Из местных. Если всё пойдёт благополучно, и он останется здесь на веки вечные, как собирался, ему предстоит не только познакомиться с каждым из местных жителей, но и узнать историю его рода до седьмого колена.

Тётя Маша Вдовина была полной женщиной лет пятидесяти. Чёрные волосы с проседью зачёсаны в простой узел, а глаза светлые как вода. Каких только кровей не намешано в тех, кто родился и вырос на берегах Волги! И беглые тут селились и ссыльные. А татары, чуваша, мордва и вовсе считали себя «коренными».

Он вспомнил, что слышал как-то раз в магазине, как продавщица Ольга говорила одной из покупательниц: «У Машки-то, у Вдовиной, сын так в Москве остаться и решил. Ну и правильно, где тут работать-то, а? Вот только им теперь с мужем сиротами жить. Уж к старости дело. Случись что – Борька их сюда не наездится, разве что на похороны приедет. Вдвоём-то Машке с мужиком вроде и спокойно, а всё равно обидно. Вырастили сына, а теперь вроде, как никому не нужные. И самим жить не для кого – ни внуков, никого...»

Всё это вспомнил сейчас Антон, а Маша его даже узнала сразу – врачей быстро запоминают, пусть они и приехали.

– Проходите, пожалуйста.... Елена Львовна вас ждёт.

И повела его в глубину дома – того самого, который ему так хотелось рассмотреть поближе. Но он всё делал быстро, стремительно – работал, ходил... Вот и сейчас пересёк вестибюль тремя размашистыми шагами. Успев заметить только полутьму, синие обои на стенах и синие шторы. И вдохнув тот запах – в нём ощущалась лёгкая сырость – который неизбежно сопутствует старым домам, хоть какой ты тут затей генеральный ремонт.

А дальше был уже кабинет, где его ждали, и рассматривать что-либо стало некогда.

Хозяйка дома, Елена Львовна, пожилая дама, сначала хотела поговорить с ним сама, а уже потом пригласить дочь.

Жизнь научила Антона в первые же минуты знакомства, хотя бы навскидку определять, что за человек перед ним. От этого зависело – какой тон взять в разговоре. Иногда нужно идти как по минному полю, подбирать каждое слово. Иначе вывернут его так, что, пожалуй, и жалобу напишут. Иногда, наоборот, надо взять тон старшего, подбадривать и говорить о болезни небрежно – мол, пустяки это всё, скоро поправитесь. С иными требуется изысканная вежливость, а с другими можно и матом завернуть. Потому что, если говорить о нашей медицине, часто других слов, кроме мата, не остаётся.

Другую женщину в годах Елены Львовны, молодой врач мог бы назвать «бабушкой». Но это был не тот случай. Здесь в глаза бросалось: женщина эта тщательно следит за собой. Пожалуй, ей можно было бы немного похудеть, но когда стареешь – небольшая полнота только на руку. Лицо гладкое, почти без морщин. Тёмные волосы уложены на голове короной. Домашнее платье – не какой-нибудь халат, а стильное платье, сшитое из дорогого магазина. И подкрашивается Елена Львовна не поленилась и не сочла зазорным в свои годы. И взгляд у неё был – немного свысока. Такие люди даже к докторам относятся, как к обслуживающему персоналу. Пригласила врача, пригласила парикмахера – невелика разница.

Хозяйка чуть приподнялась с кожаного дивана (кабы не от старых хозяев остался, на вид 19-ый век), приветствуя Антона. Хорошо хоть руку для поцелуя не протянула, с такой бы стало. И указала ему на кресло, напротив себя.

– Присаживайтесь... Антон Сергеевич, верно, да? Я хотела несколько слов сказать вам перед тем, как позову Аню. Простите, раздеться не предложила... Вещи и вашу сумку можно положить туда. Или я позову Машу, она уберёт.

– Нет-нет, то, что в саквояже, может мне понадобится.

– Ах, да... Конечно...

Прежде, чем сесть, Антон сбросил лёгкую синюю ветровку, небрежно бросил её на спинку кресла. Чемодан у него напротив был – старинный, настоящий докторский, тяжёлый. Выприсил когда-то у одного из маминих коллег, старенького невропатолога.

В свою очередь хозяйка разглядывала врача, которого ей так расхваливали: и внимательный, и знающий. Молодому человеку, сидевшему перед ней, было лет тридцать, вряд ли больше. Прекрасно сложен, короткие рукава футболки открывали загорелые мускулистые руки. Волосы тёмные, очень густые, волнистые – какой-нибудь девушке подарок бы были – такие волосы, а достались – мужчине. Узкое лицо, крупные, чётко очерченные губы, сильный, может быть, немного великоватый для этого лица нос. А глаза глубоко посаженные, почти чёрные. Взгляд такой внимательный – в самую душу...

Елена Львовна поправила на плечах пуховый платок:

– Вы понимаете, при Анечке всего этого лучше не говорить. Но, может быть, вы сделаете какие-то выводы из того, что я скажу... в плане лечения. Ей... Ане тридцать пять лет, – Елена Львовна сделала трудную паузу, даже голос казался сдавленным, когда снова заговорила, – Аня не замужем и никогда замужем не была. Семья наша, она всегда была обеспеченная. Я надеялась – всё у моей девочки будет: подружки, мальчишки. Но, начиная со школы – никогда, ничего. Всегда Анечка одна. Я понять не могла – что ж такое?

Может быть, дело в том, что Аня всегда считала себя очень неуклюжей, некрасивой. Нет, что могла, я делала, – Елена Львовна провела рукой по низенькому столику, по вязаной кружевной скатерти. – Я всегда покупала ей хорошие вещи, я старалась записывать её в кружки, секции. Мы перепробовали всё. Из фигурного катания нас – простите за выражение – просто турнули: сказали, что девочка высокая, не так сложена, и нет у неё никаких задатков спортс-

менки. Немного Анечка походила в танцевальный кружок, потом на вокал, потом в любительский театр...

Везде заканчивалось одинаково: «Мама, мне там не нравится, на меня все смотрят. Я лучше посижу дома, буду делать уроки»...

– А, может, к психологу стоило обратиться?

Антон знал, что многие из его пациентов подступают к больному вопросу такой окружной дорогой, что – куда там – «для бешеной собаки семь вёрст не крюк»! Они готовы вспомнить те далёкие дни, когда мама их в люльке качала. В поликлинике на Елену Львовну тут же рявкнули: «Сейчас что беспокоит?!»

Но для него, Антона, это частные вызовы, которые, в общем-то его и кормят. Так что, стиснув зубы, нужно поддакивать и делать заинтересованную «морду лица». Хотя – надо признаться – иногда в подробном монологе пациента и проскальзывает что-то полезное. Ведь любая болезнь – это вначале ребус. И чтобы разгадать его, чтобы верно назначить лечение... бывает, тут такая маленькая подсказка... зацепка пригодится.

– Вероятно, хорошие специалисты нам не попадались. Я про психологов, – сухо сказала Елена Львовна, – Хотя мы перепробовали – вы не представляете сколько. Начиная с той дуры, которая сидела у Анечки в школе, и заканчивая разными там именитыми.

Последний... звезда такая... вообще меня стал обвинять. Что раз я овдовела – значит, я мужа до могилы довела. Ему было со мной плохо. И это я должна была Анечку с детства приучать, – она раздражённо развела руками, – Ну там, кокетничать, мальчикам нравиться, одеваться, краситься... По-моему, он женоненавистник. Из тех, у кого «бабы-дуры», и сами во всём виноваты. Но мы с мужем прожили... вот по нынешним меркам – долго. И не я его доводила, а у него инфаркт на работе случился – с кем-то там поругался. А то, что у Анечки – это, на мой взгляд, расстройство психики.

Антон чуть слышно вздохнул. Судя по всему, здесь его были готовы задержать на несколько часов.

– Но вы понимаете, я просто терапевт. Обычный сельский врач. Ко мне идут... ну, с обычными болезнями. Простудился, перепил, живот заболел... Если у вас речь действительно, как вы говорите, идёт о психике. Но вам надо к профессионалу, к психиатру...

– Простите, – не согласилась Елена Львовна, – Отзывы, которые я о вас получала...

Антон едва не застонал. Вот уж не хватало, чтобы на свет Божий в очередной раз вытащили его бурную биографию. Он и на работу-то здесь, в глуши, согласился не из-за миллиона, обещанного властями сельским врачам, а чтобы подальше... с глаз долой, как говорится...

– Давайте... мы не обо мне будем говорить. Вы мне можете рассказать, что сейчас вот конкретно беспокоит вашу дочь?

Елена Львовна стала загибать пальцы на руке.

– Бессонница – это самое главное. Ночью, когда бы я ни проснулась – у Анечки горит свет. По-моему, если человек несколько ночей нормально не поспит – это уже на нём скажется, правда?

Антон кивнул.

– Дальше. Она стала очень раздражительной. Раньше мы с ней никогда не ссорились. Вот, не поверите, что в этом возрасте мать и дочь могут быть как две подруги. А теперь она очень нетерпеливая стала, на всё огрызается. Но всё это мы бы пережили.

Хозяйка говорила о своей дочке и себе «мы» – обычно матери так отождествляют себя только с совсем маленькими или беспомощными детьми.

– Гораздо хуже то, что у неё появились страхи.

– А чего она боится?

– Знаете, об этом лучше пусть она сама расскажет. Я вас только хочу предупредить... Исходите из того, что в психиатрическую больницу мы не ляжем ни в каком случае. И вообще, ехать в город, в диспансер, становиться на учёт – для Ани это будет абсолютный ужас.

– А почему вы так сразу о психиатре и об учёте? И что вы там нашли такого страшного? У вас там уже кто-то лежал?

– Маша! – крикнула Елена Львовна, – Позовите, пожалуйста, Анечку.

Дом был большой, Антон настроился ждать. Тем более, что речь шла о больной. Он едва не предложил пойти к ней сам. Но и двух минут не прошло, как он услышал шаги. Он обернулся к двери. Значит, это Аня...

После того, что сказала о ней мать, ему хотелось рассмотреть её повнимательнее.

– Здравствуйте! – сказала Анечка, входя, и прозвучало это робко.

Была она высокая, и какая-то... большая. В народе о таких говорят «широкая кость». Плечи широкие, большая спина, руки с крупными кистями.. Аня слегка сутулилась. Волосы невыразительного золотисто-русого цвета, уложены как у матери. Но если у Елены Львовны это смотрелось – причёской, то Анечка будто махнула рукой – а, заколоть бы эти пряди куда-нибудь, чтоб не мешали – этим и удовольствовалась.

Черты лица её действительно были некрасивы, лишены гармонии, но Антону понравились большие серые глаза – если Елена Львовна смотрела властно, то во взгляде Ани читались та же робость и испуг.

Антон помедлил несколько секунд, прежде чем заговорить. Слова Елены Львовны вызвали у него тревогу. Психиатрия больше всего претила ему из всей медицинской науки.. В дипломе только по этой дисциплине стояла у него тройка. «Я должен считаться не только с тем, что мои пациенты видят чертей, – жаловался он друзьям после практики, – Но и доподлинно знать, о чём эти черти и чертенята с ними разговаривают!»

Он сам себе боялся признаться в мнительности, в том, что пообщавшись с ненормальными, он тоже может начать слышать голоса.

– Как вы себя сейчас чувствуете, – спросил он Аню, – Ваша мама говорит, что у вас поднимается давление... Рабочее ваше какое?

Из саквояжа был извлечён тонометр, затем фонендоскоп и тут же выяснилось, что все основные показатели у Ани довольно приличные.

– Рефлексы вот только чересчур оживлённые, – подвёл итог Антон и вновь ступил на скользкую почву, – Так что же, раздражительность, бессонница?

– Да как же спать? – боязливо сказала Аня и бросила быстрый взгляд в сторону двери, точно опасалась там кого-то увидеть, – Как спать с *ним* в одном доме?

– С кем?

– С при... с призраком, – сказала Аня чуть слышно.

«Звиздец, – подумал Антон, – Галлюцинации, а против психиатра мы настроены решительно». Но выражение его лица оставалось таким же спокойным, вернее, бесстрастным:

– Вы видите призрака? Здесь? Давно?

– Да как мы приехали пару месяцев назад.... С тех пор и вижу.

– Вы видите его только ночью? Или днём тоже? Вы можете его описать?

– Конечно, ночью, – в голосе Ани проскользнуло едва заметное раздражение. Точно каждый человек должен держать в голове энциклопедию, рассказывающую о нравах и обычаях призраков, и Антон сейчас сморозил явную чушь, – Описать? Это высокий немолодой мужчина. И он ходит по нашему дому!

– А почему вы знаете, что это призрак? Может...

– У нас, кроме мамы и Маши никого в доме нет. Ещё старичок один в саду помогает, но он в дом не заходит. Вор? Может ли вор два месяца подряд наведываться, бродить ночами

по комнатам – причём наутро ничего не пропадает, ни одна вещь. Но самое страшное даже не это...

– Что же?

– Он стёршийся, понимаете? Вот знаете, когда вещь постираешь, она немного выцветает, бледнее становится? Так и он – он бледнее, чем мы все. И костюм у него выцветший, и шляпа, и лицо, и руки... И вместе с тем – ведь здесь по ночам совсем темно, фонарей нету – и я должна была бы видеть только его силуэт, очертанья... А я вижу его всего – до пуговиц на пиджаке, до седины в волосах. Он светлее всего остального, будто вот... это он сам светится.

– Что же он делает?

– Да ничего особенного. Он словно привык приходить сюда раньше, и теперь занимается обычным делом. С таким хозяйским видом может пройти через комнату, потом я слышу его шаги в коридоре, слышу, как скрипнет дверь зала. Но вы не представляете, как это жутко! Это хорошо в фильмах там или в книгах – бояться так, слегка... небольшими дозами. А в реальной-то жизни, даже если ночью что-то в открытом шкафу померещится – это ж сердце в пятки!

– Вы всегда плохо спали, или только сейчас?

– Да когда я сюда приехала, в первое время вообще, как убитая спала! Мама, может быть, не сказала вам – я немножко рисую. Приехала, и вот тут начала бродить по окрестностям с этюдником. Были дни, когда я до вечера где-то ходила, рисовала. Красивое место найдёшь – обо всём забываешь. А потом на ногах еле держишься, только и думаешь, как добраться до кровати... Но после того, как он в первый раз мне показался... Больше я спокойно заснуть не могу. Я просилась спать с мамой, но мама говорит, что от этого мои страхи не пройдут, что надо разобраться – почему, от чего...

– Наладить сон необходимо, – согласился Антон, – Иначе наступает состояние хронической усталости, вам уже и днём чёрт те что будет мерещиться. Аппетит не пропал? Кушаете нормально? Нет ли у вас чувства, будто что-то сдавливает горло? Слёзы?

На первые два вопроса Аня ответила отрицательно.

– А слёзы... Я всегда легко плакала. Но здесь мне слишком страшно, понимаете? Я уже не могу... Мне не плакать хочется, а кричать от ужаса.

– А до того, как у вас появилась эта галлю...м-м-м... до того, как вы стали видеть этого человека, что-то подобное у вас было? Вы видели когда-нибудь что-то такое, чего не видели другие?

– Никогда.

Антон задумался. Аня смотрела на него, чуть приоткрыв рот, с такой надеждой, что ему стало неловко. Проще всего – и нужно было бы это сделать – пригласить сюда хорошего психиатра, если уж они с матерью наотрез отказываются ехать в больницу.

Для Антона всегда было единственным разумным решением – не тянуть, не присматриваться к симптомам, не наблюдать – куда повернёт болезнь? Не выжидать. Не медлить. Решить ребус в кратчайший срок, выяснить, что же за болезнь это – и как можно скорее начать лечиться, расстреливать недуг именно теми лекарствами, которые будут бить в точку. Но если Котовы настолько против даже любых консультаций... Физическое состояние у Ани пока неплохое...

Он принял решение.

– Если я назначу вам антидепрессанты, вы будете их пить? – спросил он.

Аня закивала головой и сглотнула как-то трудно:

– Да, да... Любые лекарства... Обещаю.

– Потому что некоторые опасаются. Они думают: если им назначают такие препараты, их считают сумасшедшими. Или начинают убеждать, что никакой депрессии у них нет. Но у вас может быть скрытая депрессия, а это целый букет симптомов – и очень неприятных. Во всяком случае, спать будете крепко – утром пушкой не разбудишь. Да, и ещё учтите – эти таблетки

действуют не сразу, эффект накопительный, легче станет уже через неделю, а полную свою силу они проявят недели через две. Так что нужно не говорить себе, что они вам не помогают, а регулярно их принимать. Обещаете?

– Да! – так же горячо кивала Аня, и протянула руку за рецептом, – Это правда поможет?

– Я думаю, поможет. Во всяком случае, через две недели мы с вами увидимся, и посмотрим, как вы тогда будете себя чувствовать.

Елена Львовна в их разговор не вмешивалась, но теперь поняла, что «деловая часть» окончена.

– Чаю? – предложила она.

Ему не столько хотелось чаю, сколько самому задать вопросы. Но чтобы задержаться, благовидный предлог был только один – чаепитие. И он кивнул.

– А почему вы решили приобрести именно этот дом? – спросил он, – Понятно, места здесь замечательные, сюда переезжают многие. И всё-таки большинство людей или покупают готовые дома или решаются на стройку. А связываться с особняком... девятнадцатого века?

– Конца восемнадцатого, – поправила Елена Львовна и, повысила голос, – Маша, чаю!

– Конца восемнадцатого... Ведь это разруха, это – никаких удобств, всё нужно начинать с нуля. Да и репутация у дома...

– Какая репутация? – у Ани задрожали губы.

– Антон Сергеевич, я вас попрошу...

И Антон пошёл на попятную:

– Маргиналы тут всякие жили раньше, – пояснил он Ане, – Бомжи, пьяницы. Мне пару раз пришлось им помощь оказывать... Напивались до зелёных чертей, дрались...

Елена Львовна кивнула ему. А Маша принесла на подносе чай, и – не какое-нибудь изысканное печенье, а тарелку с горячими пирожками. Всё тут было перемешано, в этом доме. Изысканная лепнина на сохранившемся камине, пластиковые окна (поубивать бы кое-кого!) и пирожки с домашним вареньем.

Елена Васильевна сказала устало:

– Если бы тут был подходящий дом, мы бы купили. Но вы, наверное, этим вопросом сами не занимались. И не заметили, что здесь никто готовых коттеджей не продаёт. Все, кто решил тут осесть, начинают с нуля... строятся... Мы – две женщины – ввязываться в стройку... простите. А дом этот не такой уж ветхий. И стиль у него приятный такой... не вычурный. Я больше боялась, что будут проблемы из-за всяких документов, разрешений... Дом этот – такая старина! Но оказалось, что он нигде не стоит на учёте, памятником культуры не является.

И местный этот... ну вы его знаете... Вовченко..

Антон кивнул – кто же мог не знать главу сельской администрации. Как прежде говорили – сельсовета.

– Он был только рад, что это гнездо маргиналов... как вы правильно сказали, будет ликвидировано. Дом не станет ветшать, у него появятся хозяева. Конечно, средств пришлось вложить очень много. Вы понимаете – ремонт, разные там сети, канализация, газ и свет... Мы смогли переехать только через полгода. Но оно того стоило.

– Будет очень нескромно напроситься на беглую экскурсию? – Антон потянулся ещё за одним пирожком, – В общих чертах, так сказать... Я давно интересуюсь этим домом – ведь других достопримечательностей в селе нет. Хочется посмотреть, что вы с ним сделали.

Он подступал к границам того, что позволено при первом посещении. И по заминке Елены Львовны это было видно. Но она не отказала:

– Пожалуйста-пожалуйста. Анечка, может быть, ты проводишь доктора? Мне, с моими ногами, наверх лезть...

А ведь на ноги она ему не пожаловалась, хотя могла бы. У врача все при каждом удобном случае стараются получить совет. Антон надеялся, что это «Анечка, может быть ты» –

не попытка познакомить его поближе с незамужней дочкой. Ничего, похожего на близкие отношения с женщинами, в его планы не входило. Не только сейчас, скорее всего – никогда больше.

– Пойдёмте.

Аня встала. Она всё делала как-то робко, неуверенно – говорила, двигалась. Её хотелось взять за плечи, встряхнуть и спросить – что ты такая запуганная? А ведь его и позвали из-за того, что она была запуганной.

– Со второго этажа начнём? – Аня стояла возле лестницы.

– А на чердак вы не поднимались?

Она покачала головой:

– Насколько я знаю, нет. Может быть, только рабочие, когда проверяли – не течёт ли крыша? Нам не до чердака было. Тут столько дел оказалось всяких! Если хотите, давайте посмотрим, что там – на чердаке.

Они поднялись по лестницам, которые в старых домах совершенно особенные. Где-то они пологие, с мелкими ступеньками – может быть, для того, чтобы по ним могли скользить вверх-вниз дамы в длинных платьях, а то и со шлейфами. А тут были лестницы узкие, с очень высокими и крутыми ступеньками – говорящими ступеньками, предупреждающими... Поскрипывали, пели они при каждом шаге. Наверное, потом их заменят, как заменили старые дубовые рамы, вставили пластик.

Отрезок лестницы между вторым этажом и чердаком был и совсем узкий – только-только одному человеку пройти. Оно и понятно, Казимирыч не терпел в своих владениях посторонних.

«Неужели будет открыто?» – подумал Антон, чувствуя какой-то даже трепет. Но нет! Дверь, сделанная из легкого, рассохшегося уже дерева, так и оставалась запертой.

– По-моему, у мамы ключа от чердака нет, – сказала Аня, – А что там, а? Вам ведь интересно узнать? Вы знаете, да?

И снова Антон уклонился от ответа:

– Ну, обычно на чердак стаскивают разные старые вещи. Обломки прошлого. Среди них бывает что-то любопытное. Один старый врач, который подарил мне докторский саквояж, нашёл его как раз на чердаке. Бог знает, сколько ему лет!

Аня кивнула – и повела его дальше. Коридор второго этажа остался таким же полутёмным, каким он его помнил. Но двери были заменены на современные, стены оклеены дорогими тиснёными обоями, пол застелили ковролином.

Сравнение было неуместно, но Антону невольно вспомнился брёвёнчатый домик на окраине села. Конечно, по сравнению с этим особняком он был новостроем – его поставили, должно быть, сразу после Великой Отечественной. И всё же брёвна уже почернели, фасад с двумя окнами, как в самых бедных избах – кто хоть чуть побогаче, уже старались сделать три окошка.

Недавно поселилась в этом доме молодая пара – ни на что лучшее денег у них, как видно не хватило. Мужу повезло – нашёл работу, устроился на известковый завод. Первое, что сделали супруги, скопив немного денег – поставили белые пластиковые окна. В обрамлении чёрных брёвен они смотрелись...

Аня шла и открывала двери:

– Вот тут моя спальня. Мамина – на первом этаже, у неё, правда, больные ноги, ей по лестнице подниматься трудно. Тут что будет – мы пока не придумали что. Наверное, поставим много цветов в горшках и кадках, что-то вроде зимнего сада. Зимы в деревне такие длинные, хочется хоть немного зелени.

– Я вот только боюсь, – вдруг пришла ей в голову мысль, – Мама придумала везде постелить этот ковролин. Теперь шагов совсем не слышно. Вдруг это всё-таки не призрак, а кто-то реальный?...

– Сегодня пусть у вас кто-нибудь соберётся и съездит за лекарствами. Тогда уже нынче вы будете крепко спать. И успокойтесь, здесь – насколько я знаю – уже много-много лет никого не обворовывали и тем более не убивали, – и, чтобы отвлечь девушку, Антон спросил, – А обманки вы убирать будете?

– Какие обманки?

– Не знаю, много ли их осталось. Может быть, только одна. Раз вы о ней не знаете, значит, её ещё не трогали. Давайте сначала закончим экскурсию, а потом я её вам покажу – она на улице.

Аня показала ему всё, ничего не скрывая. И ванную комнату, где вместо огромной чугунной ванны была теперь душевая кабина. И кухню, где хозяйничала Маша («Кушать хотите? Минут через десять борщ готов будет – можно обедать»). И пустые комнаты, только что после ремонта. Судьба их была ещё не решена, хозяева только обживались.

Потом Аня снова понизила голос:

– А вот сюда он чаще всего проходит! Я, конечно, никогда за ним не иду, даже на другой день заходить сюда боюсь. Но всё-таки потом захожу и смотрю – вдруг он что-нибудь после себя оставил? Вдруг это всё-таки живой человек?

Конечно, речь шла о самой большой комнате, которую нынче бы назвали «залом». Она была одной из самых тёмных в доме – первый этаж, да ещё окна во внутренний дворик. Когда-то – не при маргиналах, конечно, – здесь была библиотека. Новые хозяева, похоже, больше всего денег, вложили именно в эту комнату. Если что-то и испортили тут, то очень мало. Дух старины вполне сохранился. Люстра с хрустальными подвесками очертаньями своими напоминала даму в бальном платье, присевшую в реверансе. Паркет, тяжёлые бархатные шторы глубокого шоколадного цвета. И книги на полках, и кресла – может быть, даже купленные в антикварном магазине. И даже – хотя с него следовало начать, потому что он стоял посреди комнаты – настоящий концертный рояль.

– У вас кто-то играет?

– Я, но совсем немного... Когда-то училась в музыкальной школе. Папа тогда купил рояль – ему предложили по случаю очень хороший, немецкий. Школу я закончила, но очень слабенько на тройки. Ни то, ни сё – продолжать образование не стоило, так, для себя что-то «изобразить» могу. Но рояль мы так и не продали. А когда купили этот дом, мама как раз хотела избавиться от инструмента, чтобы не тащить его сюда. А я настояла. Мне кажется, он тут хорошо смотрится, правда? На своём месте?

Антон кивнул.

– Ну, а теперь – вы мне хотели что-то показать? – спросила Аня.

– А, да... Я тут немножко путаюсь после вашего ремонта, но, по-моему, вот отсюда должен быть выход на задний двор. Так ближе нам будет, чем обходить весь дом.

Они прошли через маленький чуланчик, куда до них заходила, наверное, только Маша (тут стояли веник, совок, ведро) и вышли в небольшой двор, образованный двумя крыльями дома.

Были тут в своё время и розарий, и небольшой фонтан, в центре которого стоял мраморный слон. Ничего не осталось. Обломки слона – четыре ноги и часть брюха. И долго тут, наверное, ничего не будут приводить в порядок. Ведь укромное место, снаружи его не видно, гости сюда не заходят. Двор зарос лебедой и сурепкой, в дальнем углу лежал строительный мусор. Много – машиной вывозить надо.

Антон уверенно направился к левому крылу, тому, где стены укрывал вьющийся хмель.

– Вот здесь она была... Да, вот есть, смотрите...

Он отвёл листья хмеля, и Аня увидела дверь – тяжёлую дубовую дверь в виде арки, обложенную кирпичом.

– Куда она ведёт? – почему-то шёпотом спросила Аня.

– В том-то и дело, что никуда! Это обманка, я же вам говорю. Раньше такое было принято, даже модно. В доме на стене могли нарисовать любимых собак, так реалистично, что гости тянулись их погладить. Или, например, фигуру служанки, метущей комнату. Гости медлили проходить в эту комнату – думали, там не закончили уборку. А это была всего-навсего обманка. Шутиха такая. И эта дверь – это просто картина, вот посмотрите.

Аня провела рукой по штукатурке. Действительно, нарисовано.

– Да изящно как, – подивилась Аня, и вдруг спросила, – А правда, что мама говорила – вы не только врач, но ещё и священник?

Антон поднёс палец к губам – мол, вот об этом не будем.

– Через две недели я вас навещу. А если понадобится раньше, звоните в любое время.

Глава 2

Распрощавшись с Котовыми, Антон решил не сразу идти домой, как собирался вначале, а заглянуть ещё отцу Димитрию, папе Диме, единственному пока близкому ему тут человеку. Когда-то они вместе окончили духовную семинарию и были отправлены служить в сельские приходы. Но Антон из своей Александровки уехал со скандалом, а папа Дима неожиданно для всех оказался не только священником, но и рачительным хозяином. И знал он в Рождествено не только каждого человека и каждую собаку, но и всякую амбарную мышь. Если уж у кого расспрашивать про этот дом и его новых хозяев, то именно у него.

Поселившись тут полгода назад, Антон ни разу не пожалел, что приехал «под крыло» к папе Диме. Мало в здешних краях старых сёл – в давние времена всё больше кочевники тут жили, скотоводы, перекасти поле. Нынче здесь, а завтра и след их не найдёшь. Таким земля только кормилица, но не мать. И те деревни, что построили тут недавно, в общем-то были тоже «перекасти поле», без корней. Распадались колхозы, и народ откочёвывал в город, в поисках заработка, а в душе тая мечту о более лёгкой и интересной жизни. И деревенька, десятка в два домов, построенные в пятидесятых-шестидесятых годах минувшего века – вроде как сиротой оставалась. Доживало тут несколько стариков и старух, весной и осенью всё тонуло в непролазной грязи, а зимой уж силёнок не доставало старческих – расчистить тропки друг до друга, а главное дело – до магазина, куда раз в неделю привозили хлеб.

Иное дело Рождествено – село особое, живая старина. Основано оно было ещё при Екатерине Великой. До сих пор много тут можно увидеть домов девятнадцатого и даже восемнадцатого века. Диво дивное – и на кирпичи их не растащили, разве что, какие дома забросили, а какие переделками поиспортили малость.

Вон, водонапорная башня, поставленная ещё при прежней хозяйке, матушке-графине Елизавете Августовне. Ведь залюбуешься: не абы как её сделали – чистая готика, зубцы резные. А кому понадобилось поверх этих зубцов деревянную загородку присобачить – у того пусть это на совести останется. И сколько ещё таких «памяток» о годах минувших можно было насчитать по селу!

Взять пожарную часть, разместившуюся в бывших графских конюшнях. Или нарядный до сих пор, когда-то – винокуренный, а теперь – спиртовой – завод: красные кирпичи вперемежку с белыми. А там, где прежде рабочие жили, до сих пор стоит общежитие. Не только заводские, но все, кто по делам в Рождествено приехал, могут поселиться тут за копейки. Площадь рыночная осталась. Теперь торгуют тут две-три тётки. Зимой – картошкой, луком да молоком, летом – ягодами по сезону, да грибами, да яблоками. Одна надежда этой торговле – на приезжих. У своих-то, местных, такие же «товары» в огороде, да в погребе. А какой рыбный базар тут когда-то был! И осетры огромные – полведра икры в каждом, и белуги – больше человека, если мерить... Теперь, поди, дети и не видели белуги никогда.

И само собой, была в Рождествено церковь в честь архистратига Михаила с обязательным Елизаветинским приделом в графинину честь. Папа Дима как раз её сейчас успешно восстанавливает, уже до купола дошёл. Недолго ему ещё служить (да и жить) в молебном доме, хотя он и там с уютом обосновался. Скоро в отреставрированный храм перейдёт. И купола, как и столетие назад, в солнечные дни станут гореть так ярко, что за Волгой видно будет эти золотые искры.

До сих старые эти дома вносят свои штрихи в облик села, из-за них Рождествено не смотрится новоделом, вотчиной новых русских, залепивших сельские улицы сплошь особняками – один к другому впритирку. Есть такие особняки и здесь, конечно, щетинятся антеннами да видеокамерами, заслоняются от случайного взгляда трёхметровыми заборами. Но они тут

смотрятся чужаками, а старые дома – хозяевами. До сих пор эти старые дома тут вроде как главные.

Усадьба графини (хотя на самом деле и не графини вовсе, а отца её) долгое время смотрелась бельмом на глазу, хотя когда-то она была самым большим и красивым домом в Рождествено. Но фотографий и даже картин не сохранилось. Обидно, ведь сюда и художники заезжали, даже «певец лесов» – Иван Шишкин среди них. Так или иначе, если захочешь представить каким было село при Елизавете Архиповне, приходилось полагаться только на воспоминания старожилов. А тем ещё их бабки и прабабки рассказывали: о конюшнях с рысаками, об аллеях, увитых розами, о резных зелёных балконах.

В то время, как Антон приехал в Рождествено, в барской усадьбе вправду – кто только ни жил! Беженцы, гастарбайтеры, и вовсе бомжи. Разбитые окна заслоняли досками, какие-то древние железные кровати с провисшими сетками – подпирали кирпичами.

Антон вызывали к здешним маргиналам, когда из них собрался отдать Богу душу на исходе страшного запоя. Антон его тогда вытащил, прямо в этом бомжатнике ставил капельницы. А после папа Дима «промыл» этому мужику мозги уже своими средствами. Удивительно – тот до сих пор ходит трезвый, усердно помогает восстанавливать старый храм, и живёт при нём же, в сторожке. И отъелся, и одежда на нём, хоть и бедняцкая, а всё-таки не вонючие лохмотья. Нет, папа Дима тогда куда больше Антона для этого мужика сделал.

А второго бомжа, зверски избитого непонятно кем, (говорить он наотрез отказывался) пришлось везти в больницу. Скорая ехала к ним невероятно долго, часа три, наверное, и у Антона были серьёзные опасения, что старик не продержится. Но тот чудом дотерпел, и с разорванной селезёнкой его разбирались уже хирурги в больнице.

Дом держался долго, как тот измученный жестокими кулаками бомж. Но ясно было, что последует дальше – выселят оттуда всех из-за «аварийного состояния», а потом начнут рушиться ветхие стены. Предвидя это, на заднем дворе, на развалинах фонтана-слона, кто-то уже написал чёрной краской «Родовая помойка графини».

Но гораздо больше Елизаветы, Антона интересовал её отец, Архип Казимирович, который и построил усадьбу. Придворный алхимик, добывший таки золото из подручных средств, пусть толщиной в волос всего – золотую нитку, но добывший. А ещё – прорицатель, сосланный в тьму-таракань за свои кощунственные слова. Предсказал он скорую смерть фавориту императрицы. Только о кончине императорского любимца точь-в-точь в названный день, Казимирыч узнал уже здесь, в ссылке, сидя в доме своём, наверняка, за бутылкой... Чего? Этого уже и папа Дима не знал.

Сведения о Казимирыче папа Дима среди местных жителей собирал по крупицам, и сведения эти были удивительными. С той же вероятностью можно было поверить в якобы вырытый двухкилометровый подземный ход – между домом графини и винным заводом (на кой чёрт его бы рыли, скажите, пожалуйста?) О Казимирыче говорили, что мастерству своему алхимическому он учился за границей, но поехал туда не с пустыми руками. А, с таинственными *свитками*, приобретёнными вроде бы на Востоке. И по свиткам тем, если их расшифровать, можно было не только золото добывать, но и тайну самого философского камня раскрыть. Да писаны они были на каком-то мудрёном языке, Казимирычу неведомом, и он надеялся, что в Европе смогут ему сделать перевод.

Ещё говорили, что Казимирыч был едва ли не двухметрового роста, духом и телом могуч, обходил с посохом все святые места, и не только в России, но и до Иерусалима живой ногой добрался. То ли хотел вымолить покровительство высших сил, то ли наоборот, считал тягу свою к золоту грехом, и просил Матерь Божью указать ему истинный путь – куда ему стремиться должно.

Так или иначе, но алхимика в Казимирыче при императорском дворе чтили. А вот прорицателя (уж не Иерусалим ли и горячие молитвы сказались, что послан был ему этот дар?)

не стерпели. Приехал в здешние края, попавший под опалу Казимирыч – почти что на голое место. Только рыбаки тут и жили круглый год со своими семьями.

Казимирыч выстроил усадьбу и женился на девушке из бедной дворянской семьи. Богатую и знатную за него вряд ли бы отдали. Детей в этом браке родилось трое – два мальчика и девочка. Видно, Казимирыч не особо их привечал. Потому как чердак, больше похожий на третий этаж, стал для хозяина рабочим кабинетом, где проводил он целые дни, и куда, кроме него, никому хода не было.

Там Казимирыч продолжал свои «золотые» опыты, надеясь: если они увенчаются успехом, его вернут ко двору. Тем более, что и со смертью фаворита императрицыного Казимирыч ничего не измыслил. Скончался тот от удара, вызванного чревоугодием. Проще говоря, обожрался, да вина обпился. И опальный алхимик был тут, ясное дело, абсолютно ни при чём.

Но вот что интересно. Все основные украшения усадьбы появились при дочери Казимирыча, Елизавете, которой он этот дом по наследству оставил. И фонтан молодая хозяйка приказала устроить, и оранжереи заложить, сама покупала картины, скульптуры. А вот «обманки» – дело рук Казимирыча. Говорили, было их семь, а может число это с потолка взяли. Потому что назвать с уверенностью могли только две: «камин» в самом доме и «дверь» на его задворках.

Не смотря на великие надежды алхимика, никто так и не вызвал Казимирыча назад в Петербург. Дни свои он окончил в этом доме, в полном, как говорят, безумии. Мерещились ему и черти, и ангелы, и ещё Бог знает что. Потому и досталось имение Елизавете, что у неё одной из трёх детей хватало сил душевных ухаживать за спятившим – и страшным в своём безумии – отцом.

Властная была Елизавета, перечить ей никто не смел. За что, в свою очередь и поплатилась. Замуж она вышла рано, семнадцати лет. Но неудачно, а почему – Бог весть, от прежнего супруга её история сохранила только фамилию, но никаких сведений о его душевных качествах и пороках. Спустя всего пару лет супруги разъехались. Муж вернулся в Петербург, а Елизавета с сыном Михаилом остались жить в усадьбе.

Казалось бы, молодая женщина с малым ребёнком, в глуши... Зачахнут оба. Но куда там! Энергии хозяйки на всё хватало. Тогда же был выстроен по её приказу завод (скорее всего, всё-таки без подземного хода), и большой каменный дом для семей рабочих. Появились конюшни, парк в английском стиле и столовая, которую в самом Рождествено именовали «обжоркой». Рабочих тут кормили за гроши, а немногих нищих, имевшихся в селе, и вовсе бесплатно.

Даже летнюю сцену поставили в парке. И по воскресеньям, в сухую тёплую погоду, играли тут музыканты: балалаечники, гитаристы, а то и скрипачи. Елизавета Августовна на знала усталости, если нужно было заботиться о благоустройстве усадьбы. Она мечтала передать сыну впоследствии большое состояние, который тот – выгодной и разумной женитьбой – должен был ещё умножить. Других наследников у Елизаветы не было, и делиться Михаилу не пришлось бы ни с кем.

Но редко судьба идёт тебе навстречу, когда ты всё ставишь на одну карту! Хотя сколь бы честолюбива ни была Елизавета Августовна, стоило ли судьбе её так жестоко наказывать?

Пришло время, и Михаил – красивый и хорошо воспитанный юноша, отправился к отцу в Петербург. Мать мечтала о военной карьере и завидной невесте для сына. Но, влюбился Михаил вовсе не в богатую и знатную девушку, а в девицу Тюлькину, у которой и дворянское звание было под большим сомнением. И собрался на ней жениться, о чём и сообщил матери в преглупом и пренаивном письме.

Все свои силы душевные приложила тогда Елизавета Августовна, чтобы разорвать помолвку, и добилась своего – сын её, от стыда сгорая, взял назад данное девушке слово. Но за Тюлькину было кому заступиться – её брат прислал Михаилу вызов на дуэль. И тот принял его, уже тайно от матери. Поединок окончился смертью обоих дуэлянтов. Брат девушки был убит на месте, а Михаил прожил ещё несколько дней. Елизавета Августовна, поспешив-

шая из Рождествено в Петербург, смогла с ним проститься. Но помочь ненаглядному мальчику было уже не в её силах.

Елизавета Августовна перенесла эту трагедию очень тяжело. Она считала себя истинною убийцей своего сына, и на исповеди спросила священника – как ей умолить Бога, чтобы тот послал ей быстрее смерть? Тут стоит сказать, что Господь её не услышал, и прожила она долгий век, скончалась, когда минуло ей девяносто три года.

Тело Михаила похоронили на кладбище Александро-Невской лавры, а мать вернулась в имение с сердцем сына, запаянном в серебряный сосуд, который и был погребён в фамильном склепе. После этого Елизавета Августовна никуда из усадьбы на выезжала. По её приказу заложили храм в честь архистратига Михаила, и построили больницу на десяток коек. Храм, больные и бедняки – больше никого не посещала Елизавета Августовна.

В последний годы жизни проснулось в ней то же безумие, какое свойственно было и Казимирычу. Скончалась она в присутствии священника и старой ключницы, передавшей последние слова барыни:

– За дверью приглядывайте. Той, что батюшка мой открыл, а закрыть не смог.
Но что значили эти слова, никто так и не понял.

Глава 3

Папа Дима жил в скромной квартирке при молельном доме. Семье его оставалось тут тесниться от силы пару месяцев. Не только храм поднимал – из руин почти – папа Дима, но и новый дом возводил.

Людям посторонним, тем, кто пришёл к папе Диме неожиданно, не оповестив его заранее, пришлось бы немало удивиться. Например, сейчас, когда Антон нажал кнопку звонка на калитке, сделанной в глухом заборе (Вандалов в селе хватало, вернее алкашей. С иконы Богородицы уже несколько раз срывали золотые и серебряные украшения, пожертвованные ей верующими) папа Дима открыл ему почти в неглиже.

На нём были только старые выцветшие джинсы, а в руке – шланг. Папа Дима поливал огород. По пояс голый, прекрасно сложенный, мускулистый, загорелый, с выющимися волосами до плеч и аккуратной бородкой, он сейчас гораздо больше напоминал кого-нибудь рок-музыканта, чем священника.

Зелёное хозяйство у папы Димы было большое. По стенам молельного дома – одноэтажного, аккуратного, побелённого – развешаны горшки с цветущими петуниями. Вдоль забора разбиты клумбы – розы, лилии и маленькие голубые ёлочки, как обрамление. А уж за домом сад был полноценный – с теплицами и с ягодниками, с аллеями вишен и яблонь. В огороде теснились, наливались малиновым цветом помидоры, огурцы ползли вверх по опорам – забредёшь сюда, покажется, что попал в джунгли. Тыквы по осени созревали такие – вдвоём не укатить.

И на все три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый, а уж на Успение Богородицы, тем более, стол, который для прихожан накрывали в трапезной, буквально ломился от даров щедрой земли. Но не меньшая доля урожая переходила и в кухню матушки Ольги. Попадья запасалась на всю зиму – и на всю семью – соленьями и вареньями.

Папа Дима ещё и насвистывал что-то типа: «чики-па-ба, па-ба, чики па-ба, па-ба»

– Ф-ух, – обрадовался он, то ли Антону, то ли тому, что можно сделать перерыв в поливальных своих трудах, – Кто пожаловал! Какие люди без охраны! Пошли в тенёчек, чай пить.

И звал Антона в дом, в небольшую комнату, находившуюся по соседству с молельным, собственно, домом, где был обустроен алтарь, и где по воскресеньям прихожане собирались на Литургию. А комната была, так, подсобка. Конечно, с обязательной иконкой Богородицы в красном углу, и с лампадкой, где теплился малый огонёк. Но главенствовал тут – длинный дощатый стол, на котором стоял электрический самовар. Воды туда входило – ведро, пусть сколько угодно гостей придёт – на всех хватит чаю. И всегда были на столе этом, укрытые салфеткой – мёд и сахар, варенье и пироги.

Антон вдохнул тот особый запах, что до сих пор отдавался в душе тихой умиленной нотой – запах воска, чистоты, ладана и цветов, которых всегда стояло тут много. Матушка Ольга с весны до поздней осени везде расставляла букеты в вазах. Вот и сейчас плыл по комнате горьковатый аромат первых алых тюльпанов, что в России зовут неизменно «голландскими»

Папа Дима был единственным, кто ни в чём не укорил тогда Антона, когда он сорвался с места – в чём стоял, бросил храм, бросил приход. Метался, искал себе дело, думал уже рабочим на завод устроиться. А потом поступил-таки в медицинский институт и первые годы мучился страшно – тяжело давалась ему учёба после долгого перерыва. Папа Дима и тогда общался с Антоном запросто, точно ничего не случилось

А когда Антон получил диплом, папа Дима позвал его в своё село – поселиться тут и работать. На подъёмные, что сельским врачам полагаются, помог Антону подобрать и купить дом. И радовался, что врач теперь у них в селе есть – а уж папе Диме к нему всегда можно, в любое время дня и ночи.

Такого хозяйственного батюшки было ещё поискать! Папа Дима сменил тут вредного и всеми нелюбимого отца Анатолия. Ну что это, в самом деле? Позовут отца Анатолия дом освящать – так не обрадуются! Он сперва прошерстит у хозяев всю библиотеку, заставит книги крамольные из дома выкинуть – ужастики всякие и триллеры. Потом в кухню заглянет – вдруг там какие оберёги, вроде «домовят», то есть «бесенят» смущают покой хозяев? Заставит выкинуть тоже. Детей допросит – что они читают? Что смотрят по телевизору? Часто ли в храм Божий ходят, причащаются? Какие молитвы знают – а чтобы не соврали, ещё и прочесть при себе заставит. Потом отчитает родителей за ненадлежащее воспитание (всегда найдётся за что). И только потом дом святить начнёт.

Может быть. А если не понравится ему что-то у хозяев – то они «красный угол» не обустроили, то диск с фильмами лёгкого поведения у них промеж прочих затесался – так отец Анатолий вообще развернётся и уйдёт. И пальцем погрозит: «Не буду хату вашу святить, пока не исправитесь».

С главой сельской администрации Вовченко, матёрым атеистом, разговаривал отец Анатолий не иначе, как с большим крестом в руках, заслоняясь от Вовченко, как от самого антихриста. Ну и не было ему, конечно, никакой помощи – не то, что большой старый храм восстанавливать Вовченко ему не помог, но в молельном доме постоянно то воды, то тепла не было, зимой снег отгрести самому батюшке приходилось.

А прихожане вместо того, чтобы вразумления отца Анатолия принять открытым сердцем, оплакать грехи свои, и стараться исправиться – начали ездить в город, в тамошний большой храм. И детей там крестили, и венчались, и даже покойников своих отпевать привозили из города какого-нибудь другого батюшку, лишь бы не видеть лишний раз уныло-назидательную физиономию отца Анатолия.

В результате дохода приход совсем не давал, и отца Анатолия сменили, отправили куда-то в ссылку, и там не был он уже настоятелем, а служил под началом у более адекватного батюшки.

Неделю спустя в Рождествено появился папа Дима. Приехал на новом малиновом «Аудио» с женой Ольгой и двумя дочками-школьницами. И начало всё меняться так быстро, что прихожане только диву давались.

О чём беседовал папа Дима с Вовченко, к которому отправился на следующий же день после приезда, деревенские так доподлинно и не узнали. Но и перебои с водой прекратились тут же, и дорогу к молельному дому в то же лето в асфальт закатали, и кладбищем сельским местные власти занялись.

– Место тут уж больно красивое для погоста, – говорил папа Дима, – по-над Волгой, чисто Левитан «Над вечным покоем». А когда мы здесь сделаем красоту, как в Европе – дорожки там, часовню деревянную, могилы обиходим, фонари поставим – к нам из города хорониться поедут. И меньше, чем тысяч двадцать, мы за место брать не будем.

– А местные как же? – оторопел Вовченко, – Откуда ж у здешней алкашни такие деньги? Что ж мы их, после скончания жизни, поверху лежать оставим?

– Поверху никого не оставим, – как дитю неразумному объяснил папа Дима, – Придумаем. Например так: кто здесь лет десять живёт – тому место на погосте за символическую цену, а вот кто недавно переехал и домину тут отгрохал (сюда ж сейчас только такие переезжают) – тот по полной программе за погребение пусть платит.

А ещё папа Дима решил взяться за реставрацию старого храма.

– Не поднимем, – сказал ему Вовченко, – Тут такие деньги вбухивать надо – за... бись... От храма только ж стены остались, да и то аварийные.

– Я спонсоров найду, – возразил папа Дима, – Меценатов. Один на примете уже есть. Я ему пообещал один из приделов в честь него освятить...

– В честь него?!

– Ну, в честь святого его, Александра Невского, – махнул рукой папа Дима, – Сам знаешь, о ком говорю, Санёк Напарник, бандит местный, А он мне пообещал колокольню, купол и ограду церковную. Ещё одного, не буду говорить тебе пока – кого – я на трапезную раскручу, это точно.

– Пройдошистый ты поп, Дима, – с невольным уважением сказал Вовченко.

– А что ты хочешь? Потому меня сюда и прислал епископ. Третий храм уже, считай, с нуля строю. Тут, если не бегать за всеми, не стучаться в двери и не кланяться – дело с мёртвой точки не сдвинется. Причём учти, Гриша, тут ещё больше толку будет, чем с обычного храма. Смотри, какой красавец у тебя в руинах лежит! Старина, восемнадцатый век! К нам не только православные, к нам экскурсии поедут – и верующие, и неверующие, а ночевать и есть всем надо. Кафе там, гостиницу... Раскрутимся, Гриша...

И дело успешно пошло, уже почти всё готово было – и сам храм, и ограда церковная, и двухэтажное здание, где трапезная на первом этаже, воскресная школа на втором. И колокольню уж подняли, осталось водрузить на неё купол. Он был уже привезён, и лежал в церковном дворе, сияя золотыми боками, а сторож гонял от него ребятишек, замысливших кататься с него, как с горки.

Ну и ещё, конечно, по мелочи кое-что оставалось – это можно было делать неспешно, за зиму, и успеть к следующей Пасхе – расписать храм внутри, да богадельню ещё задумал папа Дима, куда опять же – за плату от епархии – можно будет брать стариков и старушек, всю жизнь отработавших при церкви. Тех, кто чистил подсвечники, мыл полы, белил закопчённые потолки...

– Считай, и местным будет работа – за стариками ухаживать, зарплату платить станем. А ещё хочу я такие динамики, чтобы службу в церковный двор транслировать. Не все, понимаешь, могут пару часов в храме, в духоте отстоять. А тут, знай, сиди во дворе на лавочке, слушай, как молятся, да как хор поёт, и сам подпевай...

– Мост хрустальный через речку ещё не хочешь? – интересовался Вовченко.

Но без всякого хрустального моста – через мост обычный – трижды в неделю возили папа Дима или матушка Ольга дочек своих в музыкальную школу. И таил уже папа Дима мысли насчёт того, кто скоро будет регентшей церковного хора, а кто её помощницей.

– У тебя кто-то есть, люди ждут? – спросил Антон папу Диму, кивая на дверь, отделявшую их комнатку от, собственно, молебного дома.

– А, Гаврилов... Сейчас вот только спросил свечку, и пошёл грехи замаливать. Опять всю зарплату пропил, прикинь? Жена, небось, сказала ему: «Доставай деньги, откуда хочешь». А откуда он возьмёт? Только Божье чудо если...

В доказательство его слов в дверях показался Гаврилов, с фуражкой в руках. По лицу его было видно, что зарплаты на лесопилке хватило на запой минимум дня в три, а то и в неделю. Знатно опухло лицо и приобрело фиолетовый оттенок. Гаврилов собрался попрощаться и уходить.

– Свечку погасил? – строго спросил папа Дима.

– А чего ж её гасить? Я самую большую взял, за полста рублей. Ей ещё гореть и гореть – пущай горит...

Папа Дима взъерошил волосы:

– Сколько раз я тебе объяснял! Свеча – это твоя молитва, Гаврилов. Значит, ты так рассуждаешь: «Я пошёл, а ты, свеча, молись за меня»? Хорошо эдак-то будет?

– А что? И пущай горит...

– Да тебе, зараза такая, – не выдержал папа Дима, – чтобы перед Богом, да перед женой оправдаться, десяток таких свечей сжечь надо! Минимум! И всё это время с колен не вставать! Почему матушка Ольга уж который раз сумку собирает – вещи моих девчонок, из которых они выросли – твоим дочкам передаёт? Ведь ты, паразит, три рубля в дом приносишь, грубо

говоря! Раньше дочкам приданое собирали, а твои что в приданое поймеют? Тебя, алкаша, мужу приволокут и в угол кинут?

Гаврилов комкал в руках кепку:

– Гаси свечку, Гаврилов, и вали отсюда, сил уже нет на твою пропитую рожу смотреть, – папа Дима вернулся к столу и покрутил головой.

– Отравится он рано или поздно, – сказал Антон, – В марте я его уже еле отходил, какого-то палева напился...

– Отравится – туда ему и дорога! Кате хоть пенсия выйдет – за потерю кормильца. Всё больше, чем ей сейчас от этого забулдыги достаётся. Но погоди, – спохватился папа Дима, – Ты-то рассказывай, как, сходил?

Папа Дима знал, что Антона сегодня должен был навестить новых хозяек «барского дома».

– Знаю я эту старую деву, Аню, истеричка она настоящая... А что ты хочешь – тридцать пять лет, не работает нигде, дурью мается. Сидят они с маменькой в четырёх стенах, перебирают свои болезни. Елена Львовна тоже не подарок – зануда, каких поискать! Подожди, будешь часто к ним ходить, она тебе начнёт рассказывать и про то, как у неё ноги болят, и про то, как бессонница мучает

Антон усмехнулся:

– Нам не привыкать.

– И что ты нашёл у дочки?

– Пока посадил на антидепрессанты. При её состоянии – хуже точно не будет. Может, станет крепче спать, и перестанут ей разные страшилки мерещиться.

Папа Дима покивал и вдруг спросил:

– А Симу ты не видел?

– Какую Симу?

– О, значит, много, потерял! Самая там интересная личность. Её продали вместе с домом. В общем, специально тебе её вряд ли покажут, но будешь ещё туда ходить – приглядишься. Маленькая такая девчонка, лет ей, может, восемнадцать, а может девятнадцать, но мелкая. Вид – затрапезнейший. Всегда босиком или в каких-нибудь стоптанных ботинках, какая-нибудь юбка на ней, кофта – в помойке им место. Сама Сима измурзанная, то с ведрами, то с лопатой...

– Ты мне какую-то Золушку описываешь...

– Отличие её от Золушки в том, что никто с ней жестоко не обращается, никто её ни к чему не принуждает. Насколько я знаю – она сирота, да ещё – потомок прежних хозяев дома. И отсюда не уходит. Всё время за этим домом ухаживает – даже когда в нём бомжи жили, она что-то пыталась сделать: где-то окна выбитые фанерой забить, где-то мусор вынести, пол вымыть.

Дом продавали – она пришла к хозяйке, к Елене Львовне этой, мол, позвольте остаться – самую грязную работу буду делать, платить – можно и не платить мне, просто за кормёжку. А поскольку она не пьёт, и тихая как мышь, и работает с утра до ночи – почему не взять?

– Ей-то какой резон там торчать? Восемнадцать лет, говоришь?

– Может, чуть больше. Ты ещё её увидишь, если будешь туда приходить. Обязательно увидишь. Только имей в виду – она малость диковатая. Стараются на глаза не попадаться. Если остановишь, спросишь о чём – глаза в пол, говорит коротко, но вежливо. Забавное существо.

– А вот скажи ты мне, Дим, как священник – может, там действительно что-то бродить по дому такое аномальное? Призрак? – Антон потянулся за ещё одним куском пирога.

– И кто ж это спрашивает? Ты ж на эту тему не меньше меня знаешь – сам учёный! Давай ещё отца Анатолия позовём, у него спросим! Конечно, нехорошо, когда у дома такая история.... Мало ли, какие грехи за Казимирычем были? Алхимик... мог кого-то отравить

по приказу царскому... Недаром, ему перед смертью всякие чудики мерещились. Елизавета Августовна тоже – похоронила бы уж сына в Питере, оплакала... Нет: тело там, сердце тут – в склепе, убийцей себя считала... Ничего хорошего, словом. И всё-таки я уверен, что Аня сама себе, прости – с жиру бесится, проблемы на свою голову ищет.

Глава 4

Антон до сих пор не верил, что у него есть свой дом. И не какая-то забегаловка-«однушка» в сотах огромного муравейника-города. А настоящий дом, выросший в землю, с жасмином и мальвами в палисаднике. И цветы тут росли до того, как он приехал, и будут расти после него. И к этому дому больше, чем ко всем новостройкам, подходили слова «время» и «вечность».

Из жаркого дня вступаешь в прохладу сений, сбрасываешь с ног тяжёлые ботинки – и все дела и заботы вместе с ними. И бросаешься на свою кровать, и можешь лежать, закинув руки за голову, сколько душе угодно. Не столько тело Антона просило отдыха, сколько голова – размышлений.

Когда Антону только предстояло обжиться здесь, и он неуверенно присматривался, будто брал *варианты*, взвешивал их на ладони и снова клал на прилавок судьбы, папа Дима привёл его сюда.

Антон сперва отметил одно – неказистый домишко, но каменный. Он боялся пожара, приходилось ему уже видеть, как горят деревянные дома

– Ты присмотрись, – папа Дима толкнул калитку в просторный двор, – Раритет тебе сватаю. Тут известный купец жил, соляная лавка у него была. Посмотри, какой толщины стены! Снаряд рядом ударит – не пробьёт. На века мужик строился! Будет тебе зимой тут тепло, а летом никакой кондиционер не понадобится – всегда прохладно. А конюшня какая, глянь... Каменная тоже, при доме, переходом с ним связана. Считай, капитальный тебе сарай... А, может, впрямь, обживёшься тут, понравится, скотину заведёшь... Хоть лошадь, хоть корову... Женишься....

– Издеваться, хватит, может?

– А, ну да, ну да... ты же обет давал.. Ты у нас монах.

– Димыч, по старой памяти, огребёшь ведь сейчас, если не заткнёшься...

Но дом и вправду Антонуглянулся, и он его купил. Обжиться толком так и не смог. Было у него тут по-солдатски чисто и по-мужски неуютно. Только самое необходимое. В просторной комнате с низкими окнами (а подоконники были такой ширины, что просились сюда горшки с цветами, и уж кто-то из пациентов подарил Антону герань) стоял в центре стол, обычный, кухонный, застеленный зелёной клеёнкой. Слева – ближе к печке, кровать, доставшаяся в наследство от прежних хозяев – раритет тоже: железная, с панцирной сеткой. Да узкий шкаф, да *один* стул, да полки с книгами – больше и не было у Антона ничего. И оттого казалось, что места много – Антон так любил, так дышалось легко.

Никакой скотины, вопреки пророчествам и даже призывам папы Димы, Антон так и не завёл. Привязалась к нему только кошка, и то была не совсем его – напололам с соседкой. Та поила Мурку молоком от своей коровы, в домовитом соседском сарае, где хранились запасы, как положено – водились и мыши. Отрада и охота. К Антону же кошка приходилась отсыпаться и отдыхать от домогательств хозяйских детей, то и дело склонявших её на игру. Кошка была уже старой, и играть не хотела. Влекла её и колбаса, которую Антон покупал себе. Магазин в селе был один, и деревенские колбасу эту – Бог знает, когда завезённую – не брали. И дорого, и брезговали: неизвестно чего туда напихали. Может – бумагу туалетную. То ли дело – свою курицу зарезать, свинью заколоть...

Но кошка не сомневалась и не опасалась, что колбаса сделана из её родственников. Кошка быстро просекла, что Антон не умеет как прочие люди – бросить ей колбасную шкурку с барского стола. Он любой кусок делит пополам: себе и ей. И кошка расплачивалась за добро как умела. Сколько раз скрашивала она Антону зимние утра, когда в знобкой, нетопленной ещё

комнате, просыпался он, уткнувшись подбородком в пушистый мурлычащий «воротник». Да и когда тебе в глаза кто-то смотрит, твой взгляд ловит – веселее ж?

**

К вере Антон потянулся в старших классах школы. Понять – отчего он вдруг задумался о Боге – никто не мог, даже егородные. Одно дело – взмолиться, если *припрёт*: кто-то вдруг заболит, или решаться будет что-то важное – например, грядёт экзамен. И совсем другое – без видимых причин начать перекраивать свою жизнь. Соблюдать посты – не только четыре раза в год, многодневные, но даже по средам и пятницам. По субботам отправляться на вечернюю службу, а по воскресеньям, когда всю семью так тянет поспать подольше – как по часам уходить к восьми утра на Литургию.

Мама считала это сначала «прибабахом», потом «фанатизмом», потом беспокоилась всерьёз и стала советоваться с папой – не нужно ли показать Антона психиатру? Папа говорил – мальчишечье ещё, пройдёт.

Мама присматривалась. Антон стал – она всё искала, каким словом описать его, нового. Потом поняла, он стал – тихий. Уже не спорил с ней по пустякам. Когда она ему что-то поручала – поднимался и шёл делать, и не только без раздражения, но как-то смиренно, что ли. По вечерам не надо было искать его, гадать, где он застрял – во дворе или у друзей? А вдруг в плохой компании? А вдруг начнут спаивать? А вдруг драка? Нет, Антон сидел у себя, в маленькой комнатке, и из-под двери лился мирный свет настольной лампы.

Оно и правда, задавали в выпускном классе много, но даже если оставалось время, к прежним друзьям Антон не рвался, его влекло к книгам. От прежних привычек осталось лишь то, что он волок домой брошенных, а тем паче больных котят и щенков, лечил их как мог или возил к ветеринару, потом пристраивал в добрые руки. А во всём остальном – не мальчишка, а совершенный затворник.

Мама не выдержала – пошла в храм к настоятелю отцу Павлу, как пошла бы в школу к классному руководителю. Вот она я, мама Антона, и что нам делать с мальчиком? А отец Павел сам к Антону давно приглядывался. Редко это бывает, чтобы юноша во цвете лет, простаивал церковные службы от и до. Другие, ровесники Антона – таких в храме называют не «прихожане», а «прохожане» – спешат они сразу к церковной лавке. Закажут «за здоровье», да «за упокой», купят пучок свечек, рассуют их по подсвечникам перед иконами, наскоро лоб перекрестят – и только их и видели. Порой начинает парень ходить в храм, держится серьёзно – к нему присмотрятся, и позовут стать алтарником, помогать батюшкам. Но за серьёзностью этого юноши скрывалось что-то большее, чем простой интерес к церковной жизни.

Несколько раз отец Павел говорил с Антоном. Тот был в беседах осторожен. Слов лишнего не скажет. Настоятель допытывался – молится ли Антон и дома? Читает ли Библию? Не надеется ли он с Божьей помощью избавиться от каких-то тайных пороков? Может, мальчишка пьёт? Или – ещё хуже – наркоманит?

Но Антон только смотрел на него чистыми глазами. На вопросы о вере – кивал, о пороках – отрицательно качал головой.

– Похвально, что ты тянешься в церковь, – сказал отец Павел, – а то ровесники твои о мирском обычно пекутся, а о душе забывают. Но ты бы не только на службы ходил, и а в прочих делах помогал нам. Мужские руки, тем более, всегда нужны.

Антон стал приходить чаще, одетый уже для грязной работы – в то, во что «не жалко». Он залезал на высокие козлы, чтобы сменить перегоревшие лампочки, белил закоптившиеся потолки, неумело, но старательно мыл полы. Такие «субботники» были в храме перед каждым праздником.

Потом Антон подружился со своим тёзкой, Тошкой-звонарём, и теперь много времени проводил у него на колокольне – и звонить в колокола учился, и просто нравилось им обоим здесь, наедине с небом. И голуби к ним слетались, Тошка был отъявленным голубятником.

Выменивал, копил, покупал, гонял – и гордился своими голубями до чёртиков. И когда они с Тошкой вдвоём на колокольне были – больше подняться к ним никто не мог – надёжную лестницу на самую верхотуру так и не сделали – деревянная была, с перекладинами, хлипкая. И кроме как в пасхальную седмицу, когда детвора всё ж таки лезла трезвонить – в остальное время сюда никто не поднимался, боялись сорваться.

А потом Антон сказал, что хочет поступать в духовную семинарию. Требовалось для этого благословение настоятеля и его письменная рекомендация. И хотя так и не сделался Антон для отца Павла понятным и близким помощником, рекомендацию он ему всё же дал – не жалко.

Но попрекнул мягко:

– Потрудились ты у нас хорошо, а всё ж таки и побольше на себя мог бы взять. Если священником хочешь стать, и вправду, алтарником бы послужил, или в хоре бы пел. Я ж даже не знаю – есть у тебя голос или нет. Для священника важно.

– Я честно скажу: присмотреться хотел, понять – действительно ли это всё моё, – ответил Антон, – Вот что мне важно было. И всё, что я тут делал – это по доброй воле. А если бы я за службу взялся, как за работу – ну понимаете, должен был бы делать то и это, а сам бы уже почувствовал, что не тянет меня душой сюда. Тут уж совсем плохо вышло бы. И служить надо, и дело делать, а через силу вроде.

Тут, слово за слово, выяснилось, наконец, с чего это всё началось, с каких пор Антон задумался о том, ради чего он живёт, и чему должен себя посвятить. Оказывается, несколько лет назад прочёл Антон книжку про оптинских новомучеников. Отца Василия, иноков Феропонта и Трофима. Не заметил он в ней, как заметили бы многие, никакой религиозной патетики. Но таким чистым и полным самоотречения показался ему их жизненный подвиг, такими ясными – мысли, и высоким – дух, что потянуло его на церковную стезю, именно как молодых к тому самому подвигу тянет. Поэтому и не хотел Антон никакой «карьеры», а брался за самую простую и чёрную работу.

Рекомендацию отец Павел ему дал, и в семинарию Антона приняли. К добру это ему оказалось, или к худу? В первый год их всё больше учили обычным предметам, каким в любом техникуме учат. А на второй год уже стали подтягивать к работе. К разной. То архиерейские палаты убирать, то фуры с картошкой разгружать. И здесь Антон был молчалив, погружён в себя, отличаясь этим от прочих семинаристов.

С Димы Новикова, будущего папы Димы, случилось бы и повозмущаться. Каждый раз начинал он узнавать – чьи это фуры, откуда и куда – картошка, и кому будут платить за разгрузку. И он же, не стеснясь, обсуждал, когда они убирали грязную посуду и остатки угощения с архиерейского стола – какой роскошный коньяк любит Владыка, и не является ли красная икра в пост явным чревоугодием? Причём Дима нимало не осуждал Владыку, он просто констатировал факт. Наверное, понимал, что если и он доберётся до таких церковных высот, то и ему будут и «Хеннеси» и красная икра.

Антон же – вечный молчальник, и вечно был бы на чёрных работах, если б не выяснилось, что голос у него, оказывается, отменный. При этом он ещё и под гитару поёт – затащила его в своё время мама в музыкальную школу. И пошло. Семинаристам нередко случалось организовывать концерты. И не только у себя, но и перед публикой – во дворцах культуры разных. А с чем они могли выйти сами? С духовными песнопениями. Исполняли старательно, как в хоре по воскресеньям – каждую ноту выводили. И публика проникалась – было строго и торжественно. А потом скромно – его часто забывали даже объявить – выходил высокий парень с гитарой. Поскольку «вольное» и тем паче «дворовое», петь тут было нельзя, чаще всего Антон брался за репертуар иеромонаха Романа.

Ах, как птицы поют! Как в неволе не спеть!

Ублажаю тебя, Божье слово – Свобода!

*Соловы, соловьи! Я б хотел умереть
Под Акафист подобного рода.*

И каким-то образом публика, чаще всего, ничего не смыслящая в нотах, понимала, что это-то не разучено, это – пережито, будто не иеромонахом сочинённое, а рвущееся из души, как та же птица – на свободу. И сколько раз даже Антон – ничего обычно не замечающий на сцене – видел, как в зале люди вытирали слёзы.

Скоро Антона уже на больших праздничных концертах звали петь, а главное – на площади, на Дне города.

– К тебе Управление культуры благоволит, – сулил Димка, – Закончим, хороший приход тебе дадут. Может, даже в городе оставят...

– Упаси Боже!

Сам Антон стремился в тишину, подальше от указаний начальства, подальше от «надо» официального, туда, где «надо» себе говорил бы только он сам. И опомниться не успел, как оказался сельским священником, а деревня та была – за шестьдесят километров от райцентра. Дачников тут не водилось, не было тут ничего, что их бы приманило – ни речки, ни озера, ни хорошего грибного леса поблизости.

Колхоз, который был тут когда-то, благополучно скончался. Памятью от него осталось несколько полутёмных грязных коровников, откуда до сих пор несло навозом. Пыталась построить своё хозяйство пара новоявленных фермеров, но большинство жителей – молодых и средних лет, ездило всё-таки на работу в город, хоть и далеко.

Чем держалось село? Славной своей историей – когда-то в здешних местах и Стенька Разин гулял, и восставали крестьяне против большевиков в лютые времена продразверстки. И что любопытно – руководила восстанием девушка, выпускница Смольного института. Как могла она, тростиночка, умевшая танцевать на балах, но ясное дело, пороху не нюхавшая – как могла она поднять мужиков – Бог весть! Как легко можно было догадаться, бунт подавили большой кровью, Шурочку эту прилюдно расстреляли, а хлеб выгребли до зёрнышка. Но память осталась.

Ещё тут была и военная история, без которой не обойтись в России. Как и из всех – великих и малых – городов и сёл, забирали отсюда мужиков на фронт в годы Великой Отечественной. Назад вернулось – пятеро. И теперь стоял на крохотной площадке перед школой обелиск в память погибших.

Ещё было в селе несколько родников, по легенде, освящённых самим Николаем Угодником. Во всяком случае, он тут когда-то кому-то являлся. Поэтому ездили сюда и из соседних деревень, и из райцентра за святой водой – облиться из ведёрка, да с собой набрать. На Крещение, да на Ивана Купала было тут столпотворение.

Построили в селе и музей – стилизованную «под старину» избу. Во дворе стояли декоративный колодец и настоящая телега. Специально для заезжих гостей держали топор и поленицу – можно было и дрова попробовать порубить.

В самой же избе выставили напоказ то, что удалось собрать, обойдя старожилов. Мебель прошлого века – столы и лавки, домотканую одежду, вышивки, посуду. Туристы ездили. Особенно им нравилось застолье, завершавшее экскурсию – чай с чабрецом, пироги, а то и самогон.

Скромными своими достопримечательностями да щедрыми туристами и держалось пока село.

А храм тут был хороший – большой, светлый, деревянный – и дерево ещё золотистого цвета, как яичный желток, не потемнело. Построил его предшественник Антона, который затем «ушёл на повышение», уехал в областной центр, в епархию.

Конечно, местные живо заинтересовались, почему Антон приехал один, без матушки, и тут же через церковную старосту Валентину Сергеевну выяснили, что матушки никакой

не предвидится, что семьи у батюшки нет, и не будет, и что дан им обет безбрачия. И, конечно, попытались его опекать, проявлять женскую заботу и откармливать.

– Так я у вас скоро в рясу не влезу, – смеялся Антон, и продолжал пока держаться наменного пути. Ел мало, молился много, в свободное время занимался физическим трудом – а, проще, в саду горбатился с лопатой. Или читал духовные книги. Ничего, кроме них. Остальное – отвлекало, тянуло душу к себе, а он и так был ещё в начале пути. Духовного пути, когда каждый шаг особенно труден.

Но вот от игры гитары всё-таки не удержался. Сам он этого ещё не понимал. Но в какой-то мере заменяла ему «Кремона» и друзей, которых он тут не приобрёл, и подругу, которую ему теперь нельзя было иметь, и собеседницу. Антон играл – и гитара говорила с ним, пересказывала записанное когда-то, кем-то, сохранённое – в нотах, Антон пел – и гитара ему вторила, не один голос был – два:

И один раз просто так, спеть под гитару военные песни, пригласили его в местную школу. Маленькая, одноэтажная деревенская школа – в большом яблоневом саду. В этот вечер толпились тут люди, и пирогами пахло из школьной столовой. Тронуло Антона, что не успел он войти – подбежали к нему маленькие ребятишки и, спросив разрешения, серьёзно, с сознанием того, что выполняют важное поручение, прикололи ему на грудь бантик из георгиевской ленточки.

А потом сидели все в актовом зале – и совсем уж крохотном. Для «сцены» и подмоста не сделали, только жёлтые шторы отделяли её от зрителя. Антону тут и петь самому не дали. Люди сразу начали подпевать. И так, все вместе, пели они – и «Бьётся в тесной печурке огонь», и «Бери шинель, пошли домой», и «Мы за cenой не постоим». Не нужен тут был исполнительский талант Антона, а главное было – побыть всем душою вместе, в этих фронтовых землянках, у этого огонька. Даже ребята из младших классов знали все слова – видать, научили родители. Здесь, как и по всей России, в каждой семье, кто-то погиб.

Антон играл, а сам не мог отвести взгляд – от учительницы младших классов. Лидии Сергеевны. Как же она была хороша... Высокая, очень худенькая, короткие каштановые волосы выются крупными кольцами. Черты удлиненного лица аристократически тонкие и нервные какие-то, как у породистой лошади. Вот дрогнули крылья носа, вот заалели щёки... А глаза – огромные, такие тёмные, такие жгущие...

Она смотрела, конечно, за своими детьми – все ли поют, никто ли украдкой не грызёт яблоко, не бросает соседке за ворот комочки бумаги. Но и на Антона взглядывала, и от взгляда этих жгущих глаз он будто проснулся – впервые за много лет.

Так началась эта любовь, которая не имела права быть, дважды не имела, потому что он был священник, монах в миру, а Лида была замужем. Они же вели себя как дети – искали какие-то укромные места, чтобы встретиться, дорваться друг до друга – и было им всё равно, лесная ли то поляна, или чей-то заброшенный сарай.

И рухнуло тогда всё, что он много лет строил в душе своей, и всё это, всё христианство, казалось теперь уныло, благообразно, до тоски правильно. Как от мира живого шагнуть в постыльную тюрьму – так воспринимал теперь Антон то, что прежде казалось ему обретением свободы и душевной истины. И не хватало у него духа сделать это – отказаться от мира и шагнуть туда, куда звал теперь его только один долг. Это было то, чего так боялся он ещё в юности.

А Лида – это та одержимость, на волне которой вершатся подвиги, и ради неё Антон готов был бросить всё, и он непрерывно молил её сделать это – всё бросить, уехать вместе.

Однако Лида медлила. Муж её работал в городе, в *серьёзной* компании, в которой можно было *расти*, зарабатывать всё больше – и не бояться ни Бога, ни чёрта, ни кризиса, ни капризов начальства. Была и дочка, которой шёл третий год. И как ни наслаждалась Лида этой любовью – подарком в размеренной её жизни, огнём, который вряд ли загорится в её судьбе когда-нибудь ещё, почти наверное – не вспыхнет больше – Лида всё же медлила. Она уже прошла

с мужем этот долгий путь в семейной жизни, когда вроде бы и молоды, и влюблены друг в друга, и почему бы – не пожениться, не попробовать... А потом сомнения, раздумья – ощущение, что попала в клетку, поиски лучшего, своего, треклятой этой «второй половины». И наконец – успокоение. Уже они с мужем – родные люди, не раздражают привычки друг друга. Живёшь вроде бы спокойно, свою жизнью – работаешь в школе, хозяйничаешь дома, а чувствуешь за спиной – семью.

И ещё было важно. Лида знала, что Гриша её – не предатель. Она убедилась в этом во время тяжёлой своей болезни, когда муж и со всем хозяйством управлялся, и о дочке заботился, и о ней самой, о Лиде, доходящей от слабости – чуть ли не с ложки её кормил. Ездил даже среди ночи в город, в круглосуточную аптеку за лекарством, чтобы сбить ей температуру. А как следил потом, чтобы не ступала она на пол босыми ногами – всегда ходила в толстых вязаных носках!

И в Лиде всё больше говорил голос разума, подсказывающий, что с мужем ей будет хорошо и спокойно прожить век, что этим нельзя рисковать. Потому как неизвестно ещё, что выйдет в той, новой жизни. Кроме того, Лида сама росла с отчимом, и видела: к ней, приёмышу, и родившемуся впоследствии родному сыну, отчим относился по-разному. Мать как будто всегда оправдывалась, когда делала что-то для Лиды, а отчим снисходил...

Можно ли собственной дочке вместо отца, для которого она – свет в окошке – привести тоже отчима? И Лиде всё больше хотелось, чтобы эта история скорее кончилась, и кончилась так, чтобы о ней никто не узнал.

Когда Антон понял это – он в одночасье всё бросил, ночью сложил вещи, и на заре, раньше даже, чем вставали деревенские – уехал. Тут уж испугались и его собственные родители. Оказывается, не религия, а вот где было настоящее сумасшествие! Их сын пошёл на первое попавшееся место, на завод, работал там где-то в цеху, на тяжёлой работе... Родители понимали, что он просто мечется, ищет возможность забыться от усталости... или надеется искупить свою вину?

Так или иначе, они вызвали папу Диму, который не раз уже бывал у них дома. Очень земного, разумного и практичного папу Диму, который должен был посоветовать Антону, как жить дальше.

Папа Дима огорошил друга неожиданным советом, потому что сам Антон на подобное бы даже не замахнулся:

– Не смог быть врачом духовным – будь телесным, поступай в медицинский.

Антон оторопел. Во-первых, он уже всё забыл, что помнил со школьных времён. Биологию, химию... Во-вторых, учёба очень тяжёлая. В-третьих, он просто не поступит.

У папы Димы на всё находились ответы:

– Будет тебе, чем голову занять, а не смаковать душевные страдания. Учиться не тяжелее, чем за прессом стоять, особенно в ночную смену. Всё от тебя самого зависит – курсы, репетиторы и Бог в помощь!

И Антон таки поступил, но учёба и вправду далась ему очень тяжело.

– Ты во время Великого Поста так не худел, – ужасалась мама, – Скоро мы тебе в подростковом отделе одежду покупать будем.

Не оставалось уже времени не только на любовные страдания и гитару, но и на самое необходимое – на еду и сон. Антон овладевал новой наукой – как научиться поддерживать себя ночью, если надо дочитать главу или дежурить в больнице. Когда подсесть на чай, почти чефир, а когда – упасть головой на стол и позволить себе кимарнуть минут двадцать.

Папа же Дима имел на него свои виды, и больше всего настаивал, чтобы Антон учился быть «самодостаточным».

– Я тебя к себе заберу, – сулил он, – Нечего тебе в здешних больничках, в бочке затычкой работать. Змеюшники тут все – я коллективы медицинские имею в виду. Раз у тебя блата

нет, соки из тебя тут все выпьют, а потом... Или будешь пахать как зомби, на автопилоте, или не выдержишь и уйдёшь. А, ещё про третий путь забыл – ты и тут можешь на какую-нибудь смазливую медсестричку запасть. Нет, братец, ты давай учись так, чтобы человека мог вылечить от и до. У нас же люди страсть как не любят «в город» по больницам ездить. Кто победнее – у того всегда и дел по горло, и денег на лечение нет. Такой к тебе придёт, чтобы ты его от кашля избавил, да чтобы бок у него отпустило. А кто богатый – тому хочется, чтобы его обслужили с комфортом на дому, чтобы он с дивана не вставал. Капельницу поставить, а то и мелкую операцию сделать – и всё «не отходя от кассы». Такая у нас, брат, полевая хирургия.

– А почему ты считаешь, что я поеду к тебе?

– Подъёмные получишь и дом купишь. Или ты при родителях до старости обретаться будешь? Я ж помню, как ты ещё в семинарии хотел в село поехать, чтобы самому себе хозяином быть. Ну, так и будешь. У нас вон новую больничку поставили – из блоков, простенькая, но очень даже очень... Ты там будешь, да фельдшер-акушерка, хорошая старая тётка, отвечаю. Проверки – редко. И школы – слава те, Господи, у нас в селе нет. Автобус детей в соседнюю деревню возит, там девятилетка. Так что никаких учительниц у нас не водится.

С тех пор Антон ни разу ещё не пожалел, что согласился и поехал к папе Диме. Не смотря на хлопотливый труд сельского врача – и ночью вставать приходилось, и вызывали его порой туда, куда добираться по непролазной грязи можно разве что на ходулях – он тут всё-таки отдыхал.

Отдыхал от долгих лет духовных поисков, от сторевавшей своей любви, от учёбы на износ. И ничего больше не хотел Антон, как прожить свой век здесь, в этом старинном купеческом доме с толстыми стенами, с жасмином под окном, с петушиным криком у соседей с самого раннего утра, когда ещё темно. Лечить тех, кто тут живёт, встречать закат – на своем крыльце, с чашкой молока и куском хлеба, читать книги, и всё-таки в глубине души знать, что Бог простит его и поведёт намеченным ему путём.

Глава 5

Сима просыпалась всегда на рассвете, в тот благословенный час, когда ты – наедине с миром. Когда омывает тебя птичий щебет, потаённая музыка, больше никто её в это время не слышит, она – вся для тебя. И можно ещё лежать и думать, о чём хочется, и только это время праздности и размышлений полагала Сима подлинной жизнью, всё остальное было – труд и заботы, усталость и долг, пока поздним вечером не упадёшь лицом в подушку.

Не увидев в своей каморке, как встало солнце, Сима всё же могла поприветствовать его. Оно само приходило к ней в гости. Вот солнечный луч скользнул сквозь маленькое окошко, находившееся в самом верху стены, и весёлым прямоугольником лёг на потолок. Этот солнечный зайчик продержится тут недолго, соскучится, заскользит влево, и исчезнет. Но сейчас он озарял и весил эту комнатку, бывший чулан. Веселил и Симу, как заглянувший к ней старый друг.

Сима жила в этом доме почти с рождения, и знала его, как отшельник – свой остров, как странник – свой корабль. Ей был ведом голос каждой ступеньки лестницы, трещины на стенах складывались для неё в узоры, а потому, как падал в окна свет, она точно могла сказать – который час.

Симу растила тут мама, которой сейчас уже не было на свете. А ту, в свою очередь растил её отец, Симин дедушка. Жить в этом доме и беречь этот дом – так им положено было по наследству. И заповедь эта передавалась от самого Казимирыча.

Конечно, дому нужны были мужские руки. Сима помнила – ещё когда был жив дедушка, у них была здесь квартира – три угловых окна на втором этаже. Две комнаты – в доме тогда сплошь была «коммуналка». А там, где у прежних хозяев был, верно, зал, сделали огромную кухню. Жильцов хватало, но как казалось Симе, только её дедушка – из всех жильцов один – посвящал всё время своё обиходу дома. Маленькая Сима могла проснуться под перестук молотка: дед чинил крылечко, а когда приходила пора завтракать, мама велела звать его с крыши – выйти на улицу и покричать: дед заделывал дыру, которую он приметил меж двух листов шифера.

Оглядываясь сейчас на эту простую жизнь, в которой день за днём было одно и то же, Сима думала – какое тогда было счастье! Она бегала в школу – тогда ещё в Рождествено была своя школа. И не было для Симы более важных дел, чем выводить ровно палочки, а потом писать в тетради первые слова, высунув от усердия кончик языка, стараться, чтобы – без пома-рок! А потом мама позовёт к столу, нальёт в тарелку горячего борща. И – никаких забот о хлебе насущном!

И подружки у Симы были, тогда ещё они не выросли, не разъехались. Им предстояло жить бок о бок всё детство, целую жизнь. Они мастерили себе кукол, насаживая на палочки бутоны мальвы – это были «головы с пышными причёсками», а из кленовых листьев получались бальные платья для их «дам» и «принцесс». И так легко было вообразить себе дом в кустах сирени, да с несколькими комнатами: это – твоя, это – моя. И возле каждого дома в их селе находилась широкая тёплая скамейка, где можно было сидеть долгими вечерами, начиная с последних апрельских деньков, пахнущих дымом – в огородах жгли прошлогоднюю листву. И едва ли не до конца сентября, который тоже пах дымом – в огонь шло всё, отслужившее летом: сухие стебли, ветки, ботва. Потом для ребятишек в золе запекали несколько картошин. И обязательно кто-нибудь из женщин пронесёт мимо крынку с тёплым, парным молоком, и окликнет девочку или мальчика, попавшегося на глаза:

– Иди-ка, попей...

И вкус того молока, и бульканье аж, когда пьёшь захлёбываешься, и пускаешь пузыри... И горячий ещё чёрный хлеб, и крупные крупинки соли, блестящие, как стёклышки. Или жарен-

ные семечки вынесет кто-нибудь на те же ежевечерние посиделки – на всех девчонок, полную миску, знай, выбирай самые крупные.

Был свой уют и зимой, когда от старого дома невозможно было очистить весь снег, и сугробы поднимались – почти до подоконников первого этажа. И дом более, чем когда-либо напоминал затерянный в снежном океане остров. И наполненные счастьем, и оттого совершенно сказочные дни каникул, когда встаёшь, когда хочешь, пусть даже раньше прежнего, но по своей воле – и вместо школы бежишь обниматься с ёлкой, что стоит в большей из комнат. Со всем её легким, шуршащим, перезванивающим, мерцающим великолепием, пахнущим хвоей, смолой и шоколадными конфетами.

Шло время, и Сима превращалась в худенькую девушку-подростка. Остро чувствуя красоту, точно антенны какие-то в душе ловили её, и заставляли восторженно распахиваться глаза – Сима так же остро ощущала свою нескладность и неловкость перед мамой: опять выросла, и надеть нечего. И нельзя весело махнуть рукой – а, мол, обойдусь! В школе все заметят, что платье стало ей мало – вон, уж и пуговицы на груди не сходятся. Надо новое.

Жизнь в их селе была как на ладони, и какие зарплатy у уборщицы (мама) и дворника (дедушка) знали все. И матери Симиных подружек сами откладывали в сторону вещички, из которых их дочки выросли. Простирнут, чтобы меньше напоминало подаяние, сложат пакет, и сунут своим девчонкам – отнесите, отдайте Симе. Если долгое время таких подарков не попадало, мама покупала у кого-нибудь из знакомых такие же подержанные платья, вроде как в кредит. И грошовую сумму за них выплачивала несколько месяцев.

И Сима даже не представляла себе, как это можно – пойти в магазин и выбирать. Прохаживаться вдоль рядов с платьями, перебирать в пальцах ткань, оценивать цвет. И остановиться на том, что понравилось, не учитывая цену. Для кого-то она не имеет значения.

Сначала она тушевалась из-за одежды, чувствовала себя последней в ряду, хуже других девчонок, ей – то что останется. Потом, в подростковом возрасте, считала себя очень некрасивой: не просто худенькая – тощая. Волосы ей по утрам заплетала мама, гладко зачёсывала русые пряди и туго плела в одну косу. Ни разу не попробовала уложить Симе волосы как-то иначе, и та не возражала. Ей так дороги были эти мгновения, когда мамины руки касались её головы. Она жмурилась, как котёнок, и радовалась, что волосы у неё длинные – долго плести. Личико у Симы было почти безбровое, чуть заметные веснушки не сходили со щёк весь год. Глаза серые, как у мамы. А губы бледные, обветренные, у неё была дурная привычка постоянно их облизывать.

Художник бы нашёл в чертах Симы свою первозданную прелесть, в ней не было ничего грубого, вульгарного, черты правильные и строгие. Визажист сказал бы, что на её лицо как на холсте можно рисовать любые картины, создать любой образ. Но Симе и до художника, и до визажиста было как до Луны.

Перебирая скудный гардероб, она отчего-то всё вспоминала тех девушек в купальниках, что они с девчонками рисовали на листах альбомной бумаги. А потом вырезали и начинали сочинять им платья. Их тоже полагалось рисовать, раскрашивать, вырезать, оставляя специальные «загибы», чтобы платье держалось на кукле. Но сможет ли она себе позволить в жизни то, к чему тянулась её рука на бумаге? Голубым цветом закрашивала она пышные оборки на очередном бальном платье для своей «дамы».

И всё-таки, по сравнению с другими девчонками, гораздо больше времени проводила она одна. Или в холодных глубинах дома – да книгой, или где-нибудь среди природы: их Рождество окружал лес, были в окрестностях и речки, и родники.

Если ты одна, можно часами сидеть на берегу крохотной речки-ручейка, опустив ноги в текучую воду, ловя пальцами ног стебли кувшинок – ни одни цветы не сравнятся с волшебными кувшинками, и читая запоем, какую-нибудь прихваченную из библиотеки книжку, чаще всего, сказки.

Если ты одна, можно подолгу стоять в лесу. Наблюдать, как ныряет в своё дупло и выбирается обратно белка. Может, она прячет что-то там? Скорлупки золотые, ядра – чистый изумруд? Или те орехи, которые – как ключ к судьбе, как в фильме «Три орешка для Золушки»? И никто не разобьёт минуты созерцания дупла и зверька, держащего что-то в трогательно маленьких лапочках, никто не завопит как идиот: «Белка! Белка!» Мол, вот я какой крутой, я её вижу...

Сима знала в лесу полянку, где поутру часто можно было встретить пугливых косуль. Ей доподлинно было известно место, где появляется по весне первая сон-трава, такая лиловая и пушистая. Какой аметист может соперничать с этой драгоценностью весны? У Симы был и свой «аквариум» в той же речке-ручейке. Зимой, если разгрести снег и потереть пальцем лёд, то получится наподобие «секретки»: и ряску застывшую видно, и нитки водорослей, и, кажется, даже лягушку.

А дома мама учила Симу ухаживать за старым домом по своему, по-женски. Не хвататься за молоток, как дед. Мыть окна, обметать паутину, смазывать особым маслом дверные петли. За домом следовало ухаживать как за старым человеком. Тогда дни его продлятся – Бог весть на сколько – но продлятся. К удивлению мамы, Сима не тяготилась этой работой. Дом таил для неё множество тайн.

Вот картина, что висит в проходной комнате. Другие вряд ли увидят там что-то кроме букета цветов на потемневшем фоне. Скользнут взглядом – а, старьё, и пройдут мимо. А для Симы тут целый сюжет, драма. Она видит в фиолетовой цветке, что в центре букета – лицо маленькой девочки, а в оранжевом цветке, что рядом – так легко представить лицо склонившегося к ребёнку мужчины. Один из лепестков добавляет профилю мужчины горбатый нос. Он явно злой, этот человек. И для Симы начинается плестись история, и она может сидеть на старом стуле с высокой спинкой, с тряпкой для пыли в руке и сочинять, сочинять...

А сколько волшебных цветных бликов отбрасывают на стены дома в солнечный день – подвески хрустальной люстры! Даже задвижка... Это местечко в косяке двери, куда полагается её задвинуть... Маленькая чёрная пещерка – вдруг в ней кто-нибудь живёт? Какое-нибудь крохотное сказочное существо?

В старших классах школы Сима ещё верила в сказочных существ, но уже ясно понимала: об этом нельзя говорить вслух. Вместо этого мечталось, чтобы вот такие же тюльпаны, которые Сима рвала в саду, и ставила букет – стебли истекали соком – в старинную вазу синего стекла возле уцелевшего портрета Елизаветы Августовны – чтобы такой же букет тюльпанов, пламенеющих чаш с горьковатым запахом, кружившим голову, кто-то неведомый подарил ей. Утром – букет у постели. Сима так и не прочла «Алых парусов», не ведала о старинном перстне, который Грэй надел на руку спящей Ассоли. Её мечта была гораздо проще, но оттого она не была меньшей в своей жажде волшебства, чуда...

А потом умер дедушка, и никто из тех, кто пришёл на поминки, не плакал. О дедушке говорили:

– Хорошо пожил, восемьдесят семь лет.

Сима же поняла, что из двух людей, которые во всём белом свете только её и любили – один ушёл. После похорон она до поздней ночи плакала у себя в постели так отчаянно, что мама пришла, села рядом и сказала:

– Не надо. Дедушке на том свете плохо будет. Мокро. В твоих слезах станет лежать, как в воде.

А потом произошло немыслимое: умерла мама. Сгорела за несколько дней, сразу после Рождества. Простудилась, закашляла тяжело, пошла к местной фельдшернице. Та послушала хрипы, поахала – «чисто гармошки в груди поют», написала длинный список лекарств, которые надо было купить. Но для этого нужно было ехать в город. Кто же поедет? Симу мама одну в город не пустит, а самой ехать – сил нет. И покупать лекарства – это забирать из шкафа

все деньги, какие предназначены на жизнь. И урезаться не на чем. Хлеб, картошка, молоко... Не будет денег – на что жить?

И мама понадеялась, что всё обойдётся, что переможет она болезнь. И не хватило сил перемочь.

В этот раз и бабы на похоронах плакали, и Симу жалели все. Но тут – помимо бесполезных слёз – подступали и вопросы практические. Куда девочку – в детский дом? В школу-интернат? Однако в марте Симе исполнилось восемнадцать лет, а там подкатила весна, окончание школы. Никто ей уже ничего не был должен, и она сама себе хозяйка.

Туго пришлось Симе, туго пришлось и дому. Коммунальная квартира постепенно расселялась. Кто-то уезжал в город, кто-то обзаводился собственным домом. И оказалось вдруг, что местной власти содержать старинный особняк хоть в минимально пристойном состоянии больше нет резону. Лучше пустить деньги на новое кафе для туристов, на гостевую избу для них же. В тот год у них многое позакрывалось. И пожарную часть забросили, которая была в бывших графских конюшнях, и на дверь старого клуба повесили большой замок. А там и библиотека была...

Дом мигом начали осваивать те, кому хотелось жить под крышей, а крыши своей не было. Не пустить их Сима не могла. В первую же ночь, как осталась она в доме одна, мужики бандитского вида разбили камнем стекло на первом этаже, и с матюгами забрались в одну из комнат, чтобы найти в ней приют.

Сима тогда до утра дрожала в своей опустевшей квартирке, которую отделяла от общего коридора только хлипкая задвижка. Почему она не собрала вещи, и не уехала? Помилуйте, куда? Ничего она не знала в городе – куда постучаться, к кому... И при робком своем характере... Кроме того, беречь дом – это был последний завет. От бабушки – маме, от мамы – ей. Сима не могла бросить дом, как последнего уцелевшего ещё члена своей семьи. Она относилась к нему, как к живому существу, которое тоже одолела тяжёлая болезнь.

Сима переселилась в маленькую комнату, раньше служившую чуланом. Вход – со двора. Но дверь тут была прочная, почти как в крепости – хоть тараном выбивай, не выбьешь. И запор надёжный.

Сима продолжала делать всё, что могла сделать для дома. Отмывала затоптанные полы, выгребала золу из печей-голландок, наводила порядок на кухне, которую новые жильцы регулярно превращали в Авгиевы конюшни.

Впрочем, не все жильцы были так плохи. С некоторыми Сима вроде бы и приятельствовала. Например, богомольный дедок, что стал работать вахтёром на спирт-заводе. За жильё тут платить не надо было, и дед Федя занял одну и комнат. Застелил байковым одеялом узкую железную кровать с панцирной сеткой. Забил фанерой выбитые окна. Сам топил печку-голландку. Молился на картонную икону Богородицы, что стояла у него на подоконнике. Гонял алкашей, которые пытались приставать к Симе, и угощал девушку печёной картошкой с рыбными консервами.

Еда – это было для Симы самое больное. И так худенькая, когда не стало мамы, она отошала как кошка. Хотя и продолжала сажать огород, как всегда бабушка и мама делали. Но земля была скверная, глинистая, давала урожай скудный.. Не найдя постоянной работы, Сима нанималась к людям – зимой почистить снег, а тем, у кого до сих пор были печи – наколоть дров. В тёплую пору – вскопать грядки, ухаживать за садом. Платить ей можно было копейки, и часто расплачивались с ней сельчане даже не деньгами, а едой. Кто картошки даст, кто десяток яиц. На таком пайке Сима ухитрялась выживать.

И всё же большую часть времени она продолжала неслышно скользить по дому, как дух – мыть, чистить, скрести. Это был её завет от родичей, её дело, её служение. И Сима ему не изменяла.

Страшнее всего рисовались ей картины, в которых дом всё-таки не выдержал запустения и рухнул. Когда ей чудилось, что она бродит по этим развалинам – Сима просыпалась от собственного крика.

Но дом не рухнул, его продали – то есть беда пришла, откуда не ждали, Сима испугалась ещё больше. А на деле вышло – к лучшему. Сима тогда попросилась через тётю Машу, которая стала тут прислугой – к ней, к Маше, в подручные. «Старшим помощником младшего дворника». И, Маша, жалея её, истолковала хозяйке по-своему:

– Девка молодая, не то, что я. Силы у неё есть. Самую грубую, да грязную работу поможет мне делать. Вы на ней не разоритесь, покормите, и довольно ей будет.

– Ну как же так, – растерялась Елена Львовна, она всё-таки была женщиной «с совестью», – Если девушка ответственная, я ей какую-нибудь зарплату, конечно, положу. Рабочие руки такому большому дому не помешают.

Теперь Симе не нужно было бояться, что в дверь начнут ломиться пьяные, бомжеватого вида постояльцы. Те десять тысяч, что платила Симе хозяйка, казались ей состоянием – в стирину бы сказали, Рокфеллера, а сейчас кого – Абрамовича? Она даже боялась пока тратить эти деньги, ей всё чудилось, что благополучие, свалившееся на её голову, вдруг исчезнет.

Если всё так и пойдёт, думала Сима, она сможет купить себе тёплую одежду и пальто на зиму, дальше этого её мысли не шли. Пока же она наслаждалась блаженнейшим чувством – быть всё время сытой. Мало того, что тётя Маша готовила всегда на хозяев «с остатком», но и молочной каши, варёной картошки с рыбой, и даже мясного супа – обычная еда прислуги в этом доме – всегда было вдоволь.

Да что там! Теперь Сима могла, когда пожелает, зайти в магазин, и купить хлеба, и даже не одну, а пару буханок – богатство, богатство! Сима частенько просыпалась среди ночи, и была в её жизни теперь эта роскошь – встать, развязать полиэтиленовый пакетик, отломить хлеба, и даже не есть, а вкушать как манну небесную, как причастие, по маленькому кусочку, по крошечке... Кто никогда не был долго-долго голодным, без надежды быть сытым завтра – этого не поймёт.

Но она и старалась работать! Так, чтобы угодить, чтобы не выгнали... Не только все генеральные уборки, мытьё полов, окон, растопка печей были на ней – Сима взялась ещё ухаживать за клумбами, белить яблони в саду, полоть, мести двор. Словом, и жнец, и швец, и на дуде игрец. И при этом прилагала отчаянные усилия, чтобы не попадаться хозяевам на глаза. Не смотря на то, что были они – по местным понятиям, вполне добрые. К работе её не придирались, не обижали, куска не жалели. Один раз только Елена Львовна спросила у тёти Маши, та потом Симе её слова передала. Хозяйка увидела Симу, идущую по двору с ведром:

– Что это твоя помощница такая худенькая? Кушает плохо?

Сима тогда страшно перепугалась и стала хватать тётю Машу за руки:

– Вы им, скажите, пожалуйста, что я не болею! Что я не заразная!

– Да что ты, дурочка, всполошилась – никто тебя не собирается выгонять!

И вправду, никто не собирался гнать Симу: хозяйка сказала, да забыла. Но Сима ещё пуще стала стараться не попадаться ни ей, ни её дочке на глаза.

Кроме того, Сима была благодарна новым хозяевам за то, что в дом теперь не мог войти, кто попало. И ветшать он перестал. Ещё бы: хозяева столько денег сюда вбухали! Единственное, что Симе не нравилось – эти новшества, которые для хозяев были обязательными, но дому оказывались вовсе не к лицу. Например, эти пластиковые окна. Когда расширяли оконные проёмы, выбивали старые кирпичи, Симе полоснула боль, она убежала в своё любимое место на речке. Это было глупо – ведь не скотину резали, а на пользу дома трудились: готовились вставить дорожные рамы.

И сейчас, ранним утром, когда деревянные часы с маятником (Сима принесла их в свою конуру с чердака, никто не возражал, новые хозяева всё равно выкинули бы их) отщёлкивали,

вызывали пятый час утра, Сима знала, что немного времени для себя у неё ещё есть. Можно начинать работу спозаранку, но в такую пору всё-таки рановато. Сима быстро оделась – чёрная цветастая юбка на резинке, и вязаная крючком кофта – ещё мама вязала (она вцепилась бы в каждого, кто сказал бы, что кофте пора на помойку). Расчесала волосы, раздирая их щёткой, быстро и туго заплела косу. И вскользнула прочь, всё-таки заперев за собой дверь, как при- выкла запира́ть её с тех пор, как в доме жил не пойми кто.

Утро было тем временем, когда силы приходят к тебе даже не от того, что выспался, а от самой земли, отдохнувшей за ночь. От этого кристально-чистого прохладного воздуха. От того, что мир пусть неуловимо, но изменился. Май ковшом выливает на голову волшеб- ство, опомниться не успеваешь. За все тоскливые долгие месяцы, когда мир опускается в бес- просветную осень, за короткие полутёмные дни, за бесконечную зиму, под конец которой уже изнываешь – да минует ли она, наконец! – за всё это одним махом расплачивается май.

Вчера ещё не было ничего, голая земля, но тоже праздничная в своей черноте – с неё только-только сгребли листву, и вот уже поднимается, распускается райская изумрудная зелень. Ведь говорят же, что изумруд – это цвет листвы в раю. И каждый день как подарок, и от щедрости того, что даёт жизнь, перехватывает дыхание. Сегодня расцвели жёлтые нар- циссы – срежешь, и стебель истекает соком, завтра – тюльпаны, сперва красные, которые неиз- менно называют «голландскими», потом – какие только ни распускаются в садах: жёлтые, розо- вые, сиреневые... А черёмуха – белой пеной окутавшая кусты? А невесомое, почти бумажное, кружево вишен? Шёлковые лепестки яблонь? Если бы можно было разводить воздух руками, как воду в пруду, и поплыть вверх, в эти яблонево-облака...

Сима знала, какую доску отодвинуть в заборе, чтобы пробраться в церковный двор, туда, где приводили в порядок старый храм. Она ещё помнила его запустевшим, с обрушившейся колокольней. Руины храма были загажены изнутри – и голубями, и людьми – наподобие тех, с кем рядом ей приходилось жить. Помнила Сима выщербленные временем красные кирпичи, запустение, стёршиеся фрески. А теперь храм стоял почти во всём великолепии прежних лет, его охраняли, и надо было хитрить, чтобы проскользнуть мимо сторожа и подняться на коло- кольную, на которой только купола не хватало – колокола уж привезли.

Она поднялась по ступенькам, пригнувшись. Таким миром и покоем дышала открывша- яся ей картина! Никогда она не летала на самолёте, и вряд ли ей предстояло полететь, но отсюда она могла видеть и раскинувшиеся внизу, того самого изумрудно-райского цвета поля, и бле- стевшую вдали речку, и дома, которые стояли тут задолго до её рождения. Этот мир был – она сама, и нигде нельзя было убедиться в этом лучше, чем вот так, ранним утром, окинув взглядом этот мир с высоты, с какой видят его птицы.

Так же, крадучись, Сима спустилась вниз. До того, как вернуться домой и взяться за метлу – первое её утреннее дело, она успеет ещё перехватить пастуха дядю Васю. Она при- бегала к нему в этот ранний час – ещё в самую голодную свою пору, и привычка сохранилась. Дядя Вася как раз присаживался завтракать прямо на траве, и звал её:

– Пошли, Симка... У меня пироги с грибами, горячие ещё.

Сима присаживалась, и тянулась за куском пирога, действительно ещё тёплого, с рисом, с прозрачными кольцами поджаренного лука, с грибами – от одного запаха голова кружится.

– Что ж ты всё худая какая? Налегай, давай...

– Нет, – мотала головой Сима, – Я теперь хорошо живу.

– А не тебе ли это, мил-душа, вот только доктора вызывали?

– Не, это хозяйкина дочка заболела, – и Сима шёпотом сообщала, – Призрака она видит.

– При-и-зрака? В том старом доме?

– Ну да. Может, с ума она сошла немножко...

– Не скажи, – в устах дяди Васи эти слова прозвучали неожиданно, – Там не первый раз призраков видят, кстати. И каждый, кто видел, своё рассказывает.

– Когда ж это было? – поразились Сима, – Мне ни мама ничего не говорила, ни даже дедушка...

– А потому что редко это бывает. За всю жизнь можно ничего не увидеть. Но говорили, с тех пор как Казимирыч умер, время от времени, будто что-то есть в усадьбе. Один раз, ещё только-только прошлый век начинался, это я тебе по рассказам передаю... там, во дворе дома, студентик один заснул. Ну, перебрал, сама понимаешь... И то ли снилось ему, то ли вправду он видел, что открывается там дверь – и мир за ней необычайный. Он такого про него порассказывал, что потом кабак, где он пил, славу получил – дескать, той водке равных нет, после неё как в раю побываешь.

Этот студентик потом, как замороженный туда ходил, ходил – да только больше ничего никогда не видел. Зато он рисовать начал, и слышал я – художником большим сделался.

Другой раз, наоборот, совсем тёмная история была. Тоже мужик, это уже после войны было, залез туда сам, своей волей, наверное, поживиться хотел. Забрался в подвал...

– В какой подвал? – удивилась Сима, – Нет там никакого подвала, под домом, глухой фундамент. Отдельно, в сторонке – сарай каменный, и под ним погреб. В тот погреб, что ли?

– Да нет, – недоверчиво покачал головой дядя Вася, – Говорили, что в дом. После войны совсем же голодно было, может он и надеялся в погребе чем-нибудь поживиться. Лучше всего старым вином, но и гнилой крупой бы не побрезговал.

Спустился он в этот подвал, а только ничего из него не принёс. И без того характером был паскудный, а тут... Про то, что с ним стало, говорят – бес вселился. И вот мотается он по селу, и ни хрена, прости меня, не делает, всё у него из рук валится, и гадости одни только всем говорит. И такой, понимаешь, разговор умеет завести, так по больному месту ударить, что если баба – то в слёзы, а мужику, конечно, ему по шее дать хочется от всей души. Так помыкался пару лет, и руки на себя наложил, повесился у себя в сених. Я его уже не застал, а отец мой его хорошо помнил. Так что призраки там, не призраки, но порою чудные дела в том старом доме творятся. Ты там, смотри, по подвалам всяким не лазай...

Сима наклонила голову к плечу, и улыбнулась – робко и благодарно. Дядя Вася, которого она тоже знала с детства, небритый дядя Вася, в сером пиджаке с чужого плеча, кем-то ему подаренном, был одним из тех осколочков, из которых складывалась мозаика её – всё же – родства. Не осталось у неё родных по крови тут, но было всё же несколько человек, которым она не могла ощущать себя совсем чужой.

Дядя Вася, да старая учительница тётя Тоня, да Николай Филиппович, фронтовик ещё, со своей женой Прасковьей Николаевной – это были те люди, к которым Сима могла заглянуть, если становилось ей совсем одиноко. При ком она могла бы заплакать, если бы на глаза навернулись слёзы. И кому она из всех сил кинулась бы помогать, если бы у них была нужда в её помощи.

Кусочек от своего пирога Сима сберегла для дяди Васиной лошади – старой гнедой кобылы Ворчуньи. Обняла на несколько мгновений длинную тёплую морду её...

– Пора тебе? – спросил дядя Вася, – Возьми с собой ещё пару кусочков, мне хватит...

– Я теперь богатая, – повторила Сима.

Однако, следовало уже торопиться. Последнее дело, которое выполняла Сима почти каждое утро – собирала небольшой букетик из цветов, тех, которые были в эту пору. И относила его на могилу барского сына, Михаила. Она ничего не знала о нём, не видела никогда его портрета, история его гибели – отказ жениться на девушке и последующая дуэль, не делали ему чести. Но Сима думала только о том, что Михаил был молод, что жизнь его внезапно оборвалась, и в этом была своего рода трагическая тайна. С душами молодых происходит что-то иное после смерти, чем с душами стариков – в этом Сима была уверена.

Давно уже не закрывался старый склеп, сломан был замок на железных воротах, и Сима беспрепятственно проходила сюда. Была у неё тут и маленькая ваза у подножья треснувшего мраморного памятника.

Вот и сейчас она присела на корточки, поставила в вазу собранные по дороге ландыши, расправила букет, и коснулась ладонью памятника, будто приветствовала друга.

Она и характеры цветов знала. Вот тюльпаны, те, что распускаются первыми. У них свежий такой, горьковатый запах юности. Как будто девочке, что вчера ещё была подростком, поднесли такой букет – огромный, охапка цветов в руках, аж падают. И она задохнулась от осознания того, что в неё кто-то влюблён. Впервые почувствовала в себе женское..

А огромные розовые пионы? У них лепестки такие, будто мазки на картине художника – быстрые, немного небрежные – во все стороны. И пахнут пионы так сладко, что вспоминаются принцессы, конфеты, розовые маечки с сердечками. Так же пышно как пионы, цветёт в июне лето. Нежное и юное – только что началось.

Иное дело – ирисы. В их изяществе: форм, окрасок, где поработала тончайшая кисточка природы, этого лёгкого пушка, поднимающегося на лепестках – скрытая задумчивая печаль. Время ирисов нужно ловить – они отцветают за несколько дней. Нужно присесть рядом, будто пришла в гости, и вдыхать этот запах. Так пахнут сказки. Так пахнет вода в озере возле старого замка, когда спускается вечер, и старый слуга затворяет резные ворота.

А розы пахнут малиной – вы замечали?

Глава 6

Обманок на памяти Симы в доме было три, и все их она прекрасно знала. В зале у камина была нарисована спящая собака с длинными ушами, охотничьей породы, белая, с рыжими и чёрными пятнами. Художник так достоверно выписал и шерсть, и сомкнувшиеся в глубоком сне глаза, и нос, который казался влажным, что порой люди, которые заходили в комнату, говорили кому-нибудь из хозяев:

– Ой, давайте потише, а то разбудим. А она у вас не кусается?

Вторая обманка была наверху, в хозяйском кабинете. Там, на стене, на потёртом ремне висело ружьё. И опять же выписано оно было так достоверно, что не раз вызывало вопросы:

– А кто у вас увлекается охотой?

И, наконец, дверь на заднем дворе, которую непонятно зачем тут нарисовали. Она точно была ни к селу, ни к городу. Никто ей не удивлялся, не восхищался.

Ни собаки, ни ружья больше не было – и краски стирались, и кто-то из не прошеных гостей отколупывал их просто так, ради забавы. Так сжигают кнопки в лифтах, вырезают свои подписи на сиденьях кинотеатра. Потом, когда новые хозяева делали ремонт, в кабинете стены покрасили, а в зале оклеили обоями.

Осталась та самая «дверь», которая скоро утонет в кустах крапивы, если хозяевам не придёт охота устроить здесь клумбы. Но тогда придётся нанимать садовника, какого-нибудь крепкого мужика. Земли при доме много, Сима одна всё не потянет, а в деревне многие будут рады подработать.

День начался, и потёк своим чередом. Нынче у Симы была генеральная уборка на огромной кухне – дело хоть и хлопотное, и вымоталась она к вечеру как собака, а всё ж целый день при тёте Маше – ласковой и тёплой, как печка. И угощала она Симу то и дело – то нальёт тарелку дымящегося ещё куриного супа, то поставит на кухонный стол миску с плюшками с изюмом, которые только что вынула из духовки, да ещё и сахаром их посыплет сверху. Сима думала – пройдёт ли у неё когда-нибудь этот жадный взгляд в сторону еды. Она считала его не вполне даже человеческим: что-то от хищника...

Наконец, все ложки-вилки были вычищены до блеска, полки в шкафчиках протёрты, выстроились на них в ряд баночки-коробочки с крупами. Вымыты окна, стены, полы, и последнее – встав на табуретку, новую лампочку взамен перегоревшей ввернула в плафон Сима.

– Кыш на улицу, – сказала ей тётя Маша, – Хватит, вон, вся взмокшая уже! Иди, отдыхай, не путайся под ногами.

– Скажите ещё, что нам тут вдвоём места не хватает, попами стукаемся..., – откликнулась Сима, но она сама знала – да, на сегодня всё.

Она вышла на задний двор и присела на крылечке в самом укромном уголке – не сразу её и заметишь. Теперь самой грязной во всём доме действительно была она сама. Мокрая от пота, юбка и ноги – в брызгах грязной воды. Сима нежила босые ноги о мягкую, прохладную траву, подставляла лицо тёплому ветерку.

На небе горел закат, но в такую погоду во дворе можно было засидеться долго, до сумерек. Уже зажигались первые звёзды, и скоро проступят очертанья знакомых созвездий... Большая и Малая Медведицы, Полярная звезда, созвездье Ориона...

Тени, которые отбрасывали все предметы, были в этот час такими длинными, они словно тянулись... Симе даже показалось, что в обманке появилась щель – такой живой была игра этих призрачных теней.

Но нет... – она внутренне ахнула – щель действительно появилась. И она росла – дверь тихо открывалась. Сима понимала, что это невозможно, что она сейчас грезит наяву, что она, наверное, очень устала или больна.

Дверь открылась. Сима не могла отвести от неё глаз.

Высокий, немолодой уже человек появился в проёме. Он настороженно обвёл глазами двор, словно опасался – не увидит ли кто его. Симу, сидевшую в укромном своём уголке, он не заметил.

Было в нём, наверное, под метр восемьдесят росту, был он худ. Каштановые волосы, расчесанные на пробор, завиты кудрями, как у женщины. Одет был человек в серый, с отблеском длинный халат – из рукавов и у горла выглядывали белые кружева рубашки. А, ещё... Усы у него тоже были и довольно кустистые брови. Несмотря на кудри и на дорогую, по всей видимости, одежду, выглядел человек этот так, словно недавно проснулся после похмелья и теперь старается прийти в себя.

Будто подтверждая мысли Симы, мужчина потянулся, хрустнув запястьями, зевнул... и ступил в этот мир, из двери – на траву, и пошёл через двор, всё также настороженно оглядываясь.

Он шёл туда, где была дверь в дом, приоткрытая сейчас из-за жары.

Мужчина скрылся в доме. Сима сидела, и двинуться с места не могла. Она равно боялась и того, что он останется там, в доме, и того, что он выйдет, и она снова его увидит.

Но она увидела его – в окне. В окне третьего этажа, вернее, чердака, который был уже много лет заперт. Сначала она увидела его лицо в профиль, точно он рассматривал что-то, невидимое ей. Потом он отложил то, что его поначалу заинтересовало, и посмотрел в окно. Оттуда он, конечно, отлично видел Симу, побледневшую, застывшую на ступеньках.

Сима метнулась глазами в сторону, чтобы не встретиться взглядом с незнакомцем. Теперь она смотрела на дверь-обманку, про которую думала раньше, что это – не настоящая дверь, а теперь, что это не обманка.

Повинуясь даже лёгкому ветерку, она медленно закрывалась, но, перед тем, как она закрылась совсем, Сима увидела в ней что-то голубое, клубящееся. Казалось, что там горит свет, во всяком случае, свет шёл оттуда – и не пожар ли уж там был? Что за дым клубами в глубине?

Больше всего Симе хотелось сейчас даже не встать и уйти, а сорваться и бежать, с трудом удерживаясь от крика. Но тут она увидела, что из дома, оглядываясь тоже, идёт хозяйская дочка Аня.

Аня показалась Симе испуганной не меньше, чем она сама. Была Аня в тёмном просторном платье, в кофточке, накинутой, не смотря на тёплый вечер. В руке она держала фонарик.

Она прямо пошла к той двери-обманке, которую открыл мужчина. Аня будто знала что-то. Она потянула за ручку, которая вот недавно только была нарисованной. А теперь дверь открылась.

Но в этот раз за ней было темно, как и должно быть, если эта дверь вела куда-то в подвал. Во всяком случае, Аня направила туда луч фонарика... и стала спускаться – наверное, там были ступени.

Аня скрылась в темноте, утонула в ней, как в чёрном озере, и даже света от фонарика Сима уже не видела. Она по-прежнему сидела на месте и туго-туго заплетала кончик косы. Как ни странно, присутствие здесь Ани, нескладной, неуклюжей, лёгкой на слёзы и доброй Ани успокоило её. Точно она считала теперь – если уж Аня не боится...

А потом её сердце снова замерло. Тот человек вышел из дома. Сима подумала, что если он сейчас вернётся к себе, он столкнётся с Аней. Но он остановился посреди двора, и вдруг посмотрел в ту сторону, где сидела Сима. Он не видел её, укрывшуюся за кустом боярышника, но отчего-то была у неё твёрдая уверенность, что именно с ней хотел он увидеться.

Человек покачал головой, точно с сожалением, что вылазка его не удалась, и пошёл обратно. И снова за дверью, когда он распахнул её, мелькнуло голубое сиянье. Так что же там всё-таки такое белое клубилось – дым? Не облака же?

Мужчина скрылся за дверью, а Аня всё не появлялась. Сима положила себе непременно дожидаться её. Темнело всё больше. Уже обозначились на небе Большая медведица и Полярная звезда, уже на берегу реки лягушки кричали тем криком, который Сима называла «ночным», а Ани всё не было.

Что могло её там задержать? Неужели её мать туда за чем то послала? Нет, скорее всего, Елена Львовна вообще ничего не знала.

И вдруг дверь открылась резко, точно изнутри её распахнула не рука, а поток воздуха, или какая-то неведомая сила. Аня стояла на пороге. Она почти сливалась – в своём чёрном платье – с той тьмой, которая была позади неё. Только белело лицо.

Сима поспешно поднялась. Она бы и вскочила, только ноги затекли, онемели. Как могла быстро она заторопилась навстречу Ане.

– Анна Николаевна, вы хорошо себя чувствуете? Вам помочь дойти до дома?

Может быть, не следовало ей показывать, что она видела – куда Аня ходила. Но Симу напугало бледное Анино лицо. И ещё больше перепугали глаза, когда она в них заглянула. От расширившихся зрачков они казались чёрными. Чёрт знает что, но ведь не наркотиками она там кололась, на самом-то деле?

Сима поспешно подхватила Аню под локоть и повела её к дому. Ей показалось, что Аня вся застыла. И рука у неё была холодной, и будто свело эту руку судорогой, не гнулась она. Симе сделалось отчаянно страшно. Скорее бы дойти, да сдать хозяйкину дочку на руки тётке Маше. Только бы не решили там, что это она, Сима, довела Аню до такого состояния.

Из последних сил Сима вскарабкалась на крыльцо, уже не придерживая Аню под руку, а обхватив её за пояс. Сима прислонила Аню к перилам и застучала во входную дверь. Дверь была обита клеёнкой, и удары получались глухие. Только бы там, внутри, услышали!

И вдруг Аня выпрямилась, точно силы к ней вернулись, и холодными твёрдыми пальцами коснулась плеча Симы.

– А ведь ты умираешь, – сказала она с усмешкой. Голос был очень спокойный, холодный, совсем не похожий на Анин прежний – неуверенный, робкий.

Сима невольно отступила на шаг. Тут им открыли. И запричитала тётя Маша, сразу что-то прочтя по лицу Ани. И вскрики слышались – эхом – в глубине дома.

Сима едва не споткнулась о ступеньки, пятясь задом с крыльца, и только оказавшись уже внизу, ощутив под босыми ногами траву, она бросилась к себе. Ей хотелось запереться на все замки, и вместе с тем ей отчаянно хотелось, чтобы кто-то был с ней в комнате, чтобы не оставаться одной. Хоть какая-нибудь живая душа рядом! И все же Сима поспешно, точно за ней кто-то гнался, и мог начать ломиться в эту дверь, накинула крючок, заперла дверь на задвижку, и ещё какое-то время держала за ручку изнутри, словно запоров было недостаточно.

Почему же она умирает? Почему Аня сказала так? Может быть – «умрёт»? Может быть, кто-то или что-то хочет её убить?

В углу каморки висела икона Казанской – маленькая, в потрескавшемся деревянном киоте. От мамы осталась эта икона. Сима, боясь зажечь свет, и боясь оставаться в темноте, чая единственное спасение только в высших силах – упала на колени перед этой иконой. Не умея молиться, почти не помня ничего из тех коротких молитв, которые знала когда-то давно, в детстве – оно казалось сейчас другой жизнью, Сима повторяла только:

– Господи, защити меня... Господи, пожалей меня... Помилуй...

На улице начался дождь, и она слышала, как звонко бьют капли по железному козырьку крыши.

Глава 7

Сегодня у Антона с утра было только два вызова, но он знал, что в обоих домах задержится надолго. И положил себе так, что сначала зайдёт к Пузаковым, где Прасковья Николаевна непременно напоит его своим несравненным кофе. Эстеты поморщились бы – она варила его со сгущёнкой. Но кофе выходил удивительно вкусным, надолго бодрил, и Антон никогда от него не отказывался.

Николаю Филипповичу было уже за девяносто, Прасковья Николаевна – несколькими годами его моложе. Тем не менее, на переезд в село они решились совсем недавно. В городе жили они в ветхом двухэтажном доме, называли их «засыпухами». Строили их когда-то временно, на десять-пятнадцать лет, как раз для семей тех, кто приехал осваивать город. Но ничего более постоянного, чем временное, не бывает в природе, и семья Николая Филипповича задержалась в такой засыпухе не полвека.

Николай Филиппович – фронтовик, ушедший на войну совсем ещё мальчишкой, а до того сын кулака, ссыльного. Вернувшись с полей Великой Отечественной, всю жизнь проработал строителем. Прасковья Николаевна – шила, была великой мастерицей. Что угодно сошьёт – от невесомого детского платяца до женского пальто на подкладке с меховым воротником.

А переехать они решили после двух случаев, обошедшихся им очень тяжело. Сначала кто-то взломал двери их квартиры – и украл все фронтовые награды Николая Филипповича.

Потом единственный и непутёвый сын Пузаковых, конченый алкаш Володька, влез в какие-то непонятные кредиты. Взял сто тысяч, верни двести. Николай Филиппович ужаснулся, несколько месяцев гасил кредит сына из своей немаленькой пенсии участника войны, жили на скромную пенсию Прасковьи Николаевны. Вроде уж и выплатили все, а набегали какие-то проценты, и им днём и ночью стали звонить коллекторы с угрозами. Николай Филиппович стал ходить по судам, писал заявления, что не для того, он штурмовал Берлин и Будапешт, чтобы удовлетворять наглые запросы каких-то финансовых аферистов. Но дело не выгорело, видно, рука руку моет, и объяснили старику, что проценты все правильные, и если их не вернуть – еще хуже будет.

Володька ударился в бег. Николай Филиппович и Прасковья Николаевна ропдали квартиру, рассчитались с сомнительным банком и на остатки денег купили себе домик в Рождествено. Один из немногих сохранившихся тут домов, где удобства находились в будочке на улице, газ для плиты был из баллона, а печка-голландка зимой тревала немалого количества дров.

Николай Филиппович, хоть и ходил уже осторожно, опираясь на палочку, но сразу занялся инспекцией нового хозяйства. И вскоре уже чем-то там обрабатывал погреб, чтобы не было сырости, и заделывал дыры в ветхом заборе, и мастерил новую задвижку для сортира.

А бойкая Прасковья Николаевна, вспомнив деревенское детство, развела кур, вскопала помаленьку – с десятью перерывами – грядки, высадила рассаду, которую теперь лелеяла – мастерила «колпачки» из старых газет, чтобы укрывать от майских заморозков свои любимые помидоры.

Антон знал, что к Дню Победы, Вовченко с помощниками объезжает немногих оставшихся в селе ветеранов (а кроме Николая Филипповича) жили тут еще только «вдовы, приравненные к участникам». Привозили им букеты цветов – всё тех же красных тюльпанов, что у Николая Филипповича в палисаднике и так росли, привозили конфеты. Поздравляли и желали... не Вовченко, конечно, была в том вина, что последний ветеран войны будет теперь жить в доме без удобств, таких ветеранов – мало ли по многострадальной России...

А только Антону до сих пор было отчего-то стыдно. Обращались к нему Пузаковы нечасто. Один раз Праковья Николаевна кисть руки вывихнула, неловко упав на неё в своём люби-

мом огороде. А чаще всего звали его тогда, когда у Николая Филипповича так разбаливались ноги, что он уж и по дому ходить не мог, что там говорить про огороды разные.

Антон лечил его бережно и любовно. Делал уколы, компрессы, неделями ходил и без вызовов, забегал после работы, осматривал, придумывал что-то новое в лечение, пока старику не становилось легче.

А Николай Филиппович радовался, что Антону можно рассказывать – сколько хочешь – о том, как он, шестандцатилетним парнишкой сбежал на фронт, приписав себе два года, И о тяжёлых боях, в которые он ввязывался с отчаянной храбростью юнца, не верящего, что он будет убит. И сколько один раз ему удалось захватить в плен немцев, когда он штурмовал дом. За той бой пообещали ему дать Героя, но оказалось, что Героя могли дать только одного, и кому-то из командирских дружков звание это оказалось нужнее: «А тебе, Пузаков, в следующий раз».

И ещё после того, самого лютого для него за всю войну боя, запомнил он, какое поднималось солнце. Огромное – поверить нельзя. Никогда больше он такого солнца не видел в жизни.

А как он защищал девушек, наших, советских девушек в Германии от посягательств союзников – каких-нибудь наглых американцев. Наши же всякие там регулировщицы все были как одна красавицы – и пилоточка у нее кудрях, и ремень на тонкой талии. И вот такие вот американцы подскочут к нашей красотке – часы золотые трофейные ей на ручку наденут – мол, презент – и хватить-похватить, куда-нибудь в подвал. И насиловали их там до смерти. Он, Коля Пузанков, несколько раз таких девушек отбивал.

А у Прасковьи Николаевны были свои воспоминания. Как вернулся её Коля после войны, и поехали они расписываться в ЗАГС. Ночью была страшная гроза. И когда они ехали в трамвае, увидели куст цветущей сирени.

– Тут Коле в голову пришло, как же мы в ЗАГС, с невестой, и без букета цветов. Вытащил он меня на остановке и побежал к той сирени, чтобы букет наломать. Хорошо, я глазастая, увидела – грозой провод электрический оборвало, и от в той сирени запутался. Я как закричу страшным голосом: «Стой!» А то не за кого было бы мне замуж, выходить, – заканчивала она.

Вот и сейчас. Антон уже сделал Николаю вановичу укол диклофенака, уже достал из своего докторского саквояжа мазь («Дважды в день – утром и вечером, поясницу и ноги, а то я вас знаю – когда еще Прасковья Николаевна в город в аптеку соберётся») и старички уже готовы были ещё что-нибудь вспомнить о годах минувших и рассказать не торопясь, когда Антон сам заговорил о барском доме, где недавно побывал.

– Видали, Николай Филиппович? Соединили всё в одном флаконе – флюгера восемнадцатого века, крыльцо резного дуба, пластиковые окна и спутниковые тарелки...

Неожиданно Николай Филиппович подержал его с энтузиазмом:

– Это ещё что! Я ведь ходил, любопытствовал... Не спрашивай как, Антоша, я ж строитель, мне такие старые дома – во как интересны! Так ведь наняли они шут знает кого для своих переделок, гастарбайтеров каких-то. Я уж хозяйке этой объяснял – дом уникальный, тут абы какие специалисты не подойдут, тут профессионалы высокого класса требуются. А ей, видать, сэкономить хотелось. Не знаю, что там у неё за проект, да только одну несущую стену ей таки сломали. И с поребом там непонятка полная...

– С погребом?

– С ним. У такого дома должен быть подвал, вот не убедишь меня, что иначе там – а они говорят – глухой фундамент! То ли залили повал этот бетоном, то ли просто заперли, но чего врать-то?

Ещё больше удивила Антона вторая его пациентка, которую ему предстояло навестить в этот день. Тоже старушка, и тоже «из простых – не из новых русских. Вернее, не совсем из простых. Антонина Григорьевна была тут легендарной фигурой. Приехала в Рождествено в пятидесятых годах прошлого века, юной учительницей со светлой косой через плечо и огром-

ными голубыми глазами. Начала преподавать историю – школа тогда тут была шумной, детей много, а две смены учились. Замуж Антонина Григорьевна так и не вышла, но, благодаря энергии своей, организаторским способностям, через несколько лет стала директором школы, и ушла с этого поста, когда ей было уже за семьдесят.

Если и считали её тут немного странной – ни мужа, ни детей, да ещё увекается сажаджейгой, то всеобщее уважение к ней было бесспорным. Уже дедушки с бабушками приводили в школу своих внуков, и вспоминали, что сами учились у Антонины Григорьевны.

Абсолютная бессеребренница, в виде подарка себе к юбилею, она просила главу сельсовета сделать новый пристрой к школе. Она говорила, что коллекционирует только одно – добрую память о себе. В последние годы она заслужила ещё большее уважение сельчан, взявшись довести до более-менее приличной кондиции тяжелейшего мальчишку. Он и говорить то толком не мог, а ото всех, кто приходил к ним в дом, прятался под кроватью.

Родители были в отчаянье, и готовы на всё, чтобы единственного сына не сдавать в интернат. Тогда появилась Антонина Григорьевна, и первым делом залезла к Саше под кровать. Уселась рядом с онемевшим от удивления мальчишкой, и сказала:

– Сашенька, случилась страшная вещь. У тебя в ротике перепутались все буквы. Но мы с тобой их будем понемножку расправлять, как ничточку и наматывать на клубок, и вывязывать из них слова. И ты у меня заговоришь.

Позже она говорила, что выхаживать такого ребёнка тяжелее, чем стоять у мартеновской печи. Но Сашенька и вправду более менее связно заговорил, и потом, под присмотром всё той же неутомимой Антонины Григорьевны окончил дома девятилетку экстерном, и какие-то компьютерные курсы и сейчас зарабатывает себе этим на жизнь – делает на заказ сайты.

С болезнями у Антонины Григорьевны были сложные отношения. Она преподчитала ни на что не жаловаться и до последнего края не пить никаких лекарств – полагалась на заитные силы организма, а пуще всего – на помощь высших сил. Хотя уже даже расписаться не могла – так тряслись у неё от болезни Паркинсона руки.

Но в последние дни она схватила такой сильный бронхит, что задыхалась и не могла спать ночами. Пришлось вызвать Антона.

Дом у Антонины Григорьевны был хоть и большой, но казался пустым – мебели тут было минимум, только самая необходимая. Да и то хозяйка не так давно продала кухонный гарнитур, чтобы съездить в Москву, на встречу своих «сажаджистов».

Антонина Григорьевна полулежала на диване, на высоких подушках, так ей было легче дышать. Ещё до того, как приступить к осмотру, Антон пошёл в кухню, ставить чайник. Чаем нужно было непременно Антонину Григорьевну напоить – и с ложечки, сама её удержать в трясущихся руках она уже не могла.

Выслушав, смерив давление, сделав уколы Антон налил, наконец, хозяйке чашку чая, положил на блюдце мягкое печенье.

Он поил её из столовой ложки, хотя нужно было бы ему уже спешит – скоро амбулаторный приём начнётся.

– Вы, говорят, с таром доме были? – вдруг спросила его Антонина Григорьевна, и пояснила, видя его удивление – Мне аша рассказывала.

Горничная хозяев, Маша, была её соседкой.

– Вы видели Симу? – голос Антонины Григорьевны был нетерпеливым, – Там живёт девушка, Сима, моя бывшая ученица, вы её видели, когда ходили туда?

Антон покачал головой.

– Но вы же ещё там будете? Постарайтесь увидеть Симу. Такая способная девочка, поэтическая натура... Так тонко всё чувствовала, описывала... В ней был потенциал, может быть, писательницы, поэтессы. Но такая несчастная судьба. Осталась сиротой, почти нищенствует... Я недавно видела её из окна – она тут пробегала. Увидите – посмотрите на неё, как врач. Она

стала совсем бесплотная – кожа и косточки. Вы же не возьмёте с неё денег, правда? Ей просто нечем будет вам заплатить... ей надо еще жить, совсем ведь еще девочка.

**

Антон наткнулся на него случайно, когда возвращался домой. Сначала он с полной уверенностью решил, что это мёртвая собака – маленький комоч грязной рыжей шерсти в зелёной траве. И всё-таки замер на несколько секунд, приглядываясь. И с удивлением увидел, что рёбра чуть-чуть приподнимаются. Но собаке, без сомнения было очень плохо.

До дома оставалось буквально два шага. А здесь у него ничего не было с собой, не было, чем помочь. Антон сбросил с плеч лёгкую куртку, завернул собаку – она реагировала слабо, еле-еле приподняла голову. Лёгкое тельце, проступающе под ладонями косточки.

Придя домой, Антон уложил собаку на веранде, на ветхом диване, стал осматривать. И закусил губу. Это был старый кокер спаниель. И он, по всей видимости умирал. Он был уже очень стар, абсолютно слеп – катаракты на ооих глазах, запущенный отит – уши гноились. Большая опухоль на животе. Но не это заставило содрогнуться Антона. Для него было очевидным, что собаку выкинули. Местные никогда не взяли бы псину такой «бесполезной» породы, требующую тем более ухода за шерстью. На цепь такую не посадишь – а тут у всех собаки поголовно или сидели на цепи, или бегали спущенными по двору, охраняли.

Значит, привёз кто-то из владельцев особняков. Додержал до крайности, а когда собака стала уже абсолютно немощной – усыпить не хватило духу, просто выставили за ворота. Но если слепец – с посохом бредущий и просящий Христа ради – ещё мог рассчитывать на людское сострадание, то куда было деться слепой собаке, из-за опухоли в паху уже почти неспособной передвигать лапы.

Антон, которому, как и любому врачу, приходилось делать жестокие вещи – например, доподилося ему сообщать близким о смерти пациента на хирургическом столе – усыпить животное тоже не смог бы. Даже если бы пёс начала визжать от боли, он предпочёл бы любой другой путь – вколоть обезболивающее, снотворное. Но пёсик был тихим и покорным. Он посидел немного, свесив голову, а потом, видимо, силы кончились, и он опять лёг, и стал похож на мёртвого.

Антон провозился с ним до позднего вечера. Мыл и расчёсывал, выстригал колтуны – особенно в чудовищном состоянии были уши. Закапывал в эти несчастные уши капли, перевязывал рану на боку. Несмотря на слабость, пёсик с жадностью поел варёную курицу, вылакал бульон и вылизал миску.

Антон постелил возле своей постели старый коврик, чтобы ночью можно было опускать руку и проверять – как там пёс. Он не заморачивался с тем, как назвать нового жильца – Рыжик и ладно.

Глава 8

Телефонный звонок разбудил его на рассвете. Антон привык, что его сотовый телефон знают все. Друзья, пациенты, их знакомые и знакомые их знакомых. Случайные звонки чаще, чем это можно было себе представить, оказывались судьбоносными. В последний раз, ещё когда он работал в городе, старая учительница позвонила ему перед самым Новым годом – до боя курантов оставалось несколько часов:

– Антон Сергеевич, хотела поздравить вас с праздником....

– Мария Петровна, а почему у вас голос такой задыхающийся? – спросил Антон.

Одни называли эту его постоянную настороженность «въедливостью», и не любили его за это, другие именовали её «дотошностью» и полагали, что таким и должен быть настоящий врач.

– Да что-то мне нехорошо, – ответила Мария Петровна поверхностно легкомысленным тоном, которым часто говорят старые люди – а, мол, мне всё равно скоро помирать, не обращайтесь внимания, – С сердцем что-то не очень и живот сильно болит. Так что вид у меня совсем не праздничный, заезжать не стоит.

– Тогда я тем более заеду, – сказал Антон.

Ту новогоднюю ночь он провёл в операционной. Операция оказалась «большой», пришлось вшивать сетку... Но уж утром у Антона точно не было чувства, что праздничная ночь прошла как-то скомкано и зря, и если голова и раскалывалась, то хотя бы не с похмелья.

И вот теперь телефон зазвонил ровнёхонько в шесть утра. Прежде, чем ответить на вызов, Антон наклонился и потрепал собаку по голове. Рыжик поднял голову, слепо повёл ею, потянул сухим, потрескавшимся носом воздух. Жив. Уже хорошо.

Только после этого он сказал в трубку хриплым после сна голосом:

– Да...

– Извините, это Елена Львовна Котова вас беспокоит. Вы у нас были...

– Что случилось? – перебил Антон.

– Я еле дождалась приличного времени, чтобы можно было позвонить....

– Не надо ждать приличного времени. Если плохо – звоните в любое время суток.

И вдруг он услышал, как на том конце провода Елена Львовна заплакала:

– Анечке плохо, я не знаю, что делать, и мне очень страшно...

– Что с ней? – этот вопрос был нужен за тем, чтобы знать, какие лекарства бросать в сак-вояж.

– Она... она... – всхлипывала Елена Львовна, – Она сидит как деревянная.... И молчит. А если говорит, то она говорит ужасные вещи. Ей стало хуже, Антон Сергеевич, ей стало гораздо хуже...

– Может быть, скорую? – предложил Антон, не надеясь, что она согласится, – В больницу....

– Нет, я вас умоляю... Я просто умоляю вас... Посмотрите на неё, пожалуйста, а тогда решите.

– Иду.

Двери ему снова открыла Маша, но выглядела она на этот раз гораздо более испуганной. Она едва не вцепилась Антону в рукав, повторяя что-то очень странное:

– Вы её только не трогайте. Вы до неё только не дотрагивайтесь, пожалуйста.

Она же и показывала, куда надо идти, торопливо бежала впереди. Не в тот кабинет, где его принимали в первый раз. Теперь нужно было подниматься на второй этаж, в Анину комнату.

Антону бросился в глаза беспорядок, царивший здесь. Смятая постель, разбросанные повсюду вещи.

– Сюда, сюда... – позвала Елена Львовна, приподнимаясь из кресла.

Она устроилась в углу комнаты, недалеко от дочери. Но не рядом, не рядом...

Аня же просто сидела на постели – неприбранная, спутанные волосы кое-как забраны в хвост, запахнутый халат поверх ночной рубашки. Аня даже не повернула к нему головы. И Антон спросил не её, а сразу Елену Львовну:

– Что случилось?

– Вчера вечером Анечка вышла... Ненадолго вышла во двор. Потом её привела Сима. И вот с тех пор она такая. Сама не похожа на себя, вся какая-то застывшая. Пробеешь её о чём-то спросить, может, напугало её что-то? – не отвечает.

Антон тоже обратил внимание на странную, неподвижную позу Ани. Казалось, все её мышцы были напряжены – и застыли в этом усилии. И такое же застывшее, неподвижное лицо. Антон встал так, чтобы Аня смотрела прямо на него. И громко, отчётливо сказал ей:

– Здравствуйте!

И тихо бросил Маше:

– Эту вашу Симу сюда позовите...

Аня ему не ответила. Потом взгляд её утратил напряжённость, поплыл, и она стала напевать, без всякого мотива – так можно петь наедине с собой:

– Рааастрииига... Ты поп рааастрииига....

Антон передёрнуло – это-то откуда ей известно?

– Аня, вы меня слышите?

– Раааастрииига... Рааастрииигааа... А назад тебя не пустят, а назад тебя не пустят...

Елена Львовна закрыла руками лицо и заплакала – жалко, со всхлипами.

Антон открыл саквояж, замешкался на пару мгновений, раздумывая – на каком лекарстве остановиться. И стал набирать в шприц большую дозу успокоительного.

Уже не спрашивая больше ничего, он подошёл к Ане и поднял рукав её халата.

В тот момент, когда он коснулся её руки – полной, прохладной руки – его сердце сбилось с ритма, пропустило удар, а потом стало биться какими-то скачками. Неиспытанная никогда волна тоски и безнадёжности нахлынула на него, комком встала в горле.

Никогда, ни в минуты своих любовных разочарований, ни когда уходил из церкви – он не испытывал такого. В таком состоянии легко разбежаться, вышибить лбом стекло, шагнуть в никуда. Легко затянуть на шее петлю. Выпить все лекарства, какие есть в доме. Его жизнь словно отделилась от него – он мог взглянуть на неё со стороны, и взгляд тот был усталым и безнадёжным. Удивительно пустой, мелкой, никчёмной видел он сейчас свою жизнь. И дальше всё могло быть только хуже, только безнадёжней.

Ему потребовалось огромное усилие воли, чтобы взять себя в руки, сделать Ане укол. Он отошёл. Но чувство тоски по-прежнему стояло – комом в горле.

Тётя Маша кого-то выуживала из-за своей спины, приговаривая:

– Да не бойся ты, да иди ты сюда.... Поговори же с доктором, холера ты холера... Ну, разве можно так трусить? Расскажи ты ему...

– Это Сима? – быстро спросил Антон.

– Сима.

Не придумаешь затрапезнее девчонки! Серая длинная юбка, какая-то бабушки кофточка. Лыняные волосы заплетены в разлохматившуюся уже косу, чёлка сострижена неровной линией на уровне бровей. Бледная, хуже Ани. Взгляд исподлобья – хмурый и перепуганный.

– Расскажи мне, что вчера случилось, – попросил Антон.

Тот же взгляд исподлобья – и молчание.

– Где ты нашла Анну... (ладно, чёрт с ним, с отчеством, не мог он его вспомнить)

– Во дворе, – выдавила девочка. Так невнятно, почти про себя, пришлось переспросить.

– Как это было? Ты встретила её во дворе? Одну или с кем-то?

– Одну, – Сима боязливо оглянулась, точно кто-то мог их услышать, и добавила, – Она в подвал ходила.

– В подвал?

– В летний погреб, наверное, – сморкаясь, пояснила Елена Львовна, – Хотя, что ей там делать – не представляю. Там одни запасы... Не могло же ей прийти в голову лезть в бочку за огурцами.

Сима переводила с Антона на Елену Львовну настороженный взгляд. Она решила ни за что не говорить, что Аня ходила вовсе не в погреб, а в какой-то странный, чуть ли не нарисованный подвал. Подвал, который при этом, несомненно, был. Не хватало ещё, чтобы Симу сочли тоже больной, и начали делать уколы и ей. Но Аню-то не выгонят отсюда, а её-то выгонят, если она заболит и не сможет работать.

– Аня не говорила, что её что-то напугало? Может быть, она опять этого своего... призрака видела?

Сима отчаянно – то трясла, то крутила головой – нет, мол, нет, ничего не знаю.

– Ладно, отпустите её, – махнул рукой Антон.

Надо было видеть, с какой быстротой скрылась эта самая Сима!

Между тем, лекарство начинало действовать, в глазах Ани уже читалась усталость, голова её клонилась на грудь. Ей нужно было помочь лечь, но Маша медлила, чуть ли не со страхом. Значит, она испытала то же самое, что и Антон, прикасаясь к хозяйской дочке.

Антон заставил себя взять Аню за плечи, уложил её, укрыл одеялом. Бр-р-р... ну и ощущения. Если бы у него был пистолет, он бы мог сейчас, не думая ни о чем, застрелиться.

Он сел напротив Елены Львовны, переплёл пальцы на коленях:

– Я всё-таки уверен, что ей надо полежать в больнице, – сказал он, – Поймите же, сейчас можно обойтись «малой кровью». То есть, пролежит она там недолго, несколько недель, и лекарства будут максимально щадящие. Она потом сможет восстановиться после них, станет такой, как раньше. Если же сейчас запустить болезнь – она может лечиться годами. И медикаменты там будут совсем другие уже.

И ещё, – добавил он, – если у вас есть возможность, материальная возможность, ей бы лучше лечиться не у нас, а где-нибудь.... Израиль... Германия.... Там применяют другие препараты. Мягкие, чуть ли не на травах, но очень эффективные. Они не разрушают личность, но они корректируют поведение человека, он ведёт себя как нормальный. Если вы решите её туда отправить – я могу отвезти Аню, или найду кого-то, кто бы ей отвёз и опекал.

– Пока я сидела с ней, мне стало плохо, – шёпотом пожаловалась Елена Львовна, – Знаете, такое странное чувство.... Мне стало страшно, очень страшно.

И вдруг сказала, вроде бы ни с того, ни с того, ни с сего:

– Может быть, нам освятить дом?

Антон не сразу понял, почему ей в голову пришла эта мысль.

– Но ведь эти старые дома, они обычно... их освящали при прежних хозяевах, – сказал он, – Одного раза достаточно... На дом уже призвано благословение, чтобы всем его обитателям жилось хорошо и мирно.

– Вы ведь прежде были священником? – спросила Елена Львовна.

– Вам рассказали?

Она устало пожала плечами:

– Что здесь можно скрыть, на этом пяточке земли? Не жалеете, что ушли?

Сто раз он слышал уже этот вопрос, и каждый раз не мог ответить сразу – снова и снова задавал этот вопрос сам себе:

– Вряд ли... вряд ли я как священник мог бы принести столько добра, что надо жалеть об этой упущенной возможности. Я сейчас стараюсь делать всё, что могу для людей – как врач.

– Мне запомнилась фраза, – продолжала Елена Львовна тем же усталым голосом. Наверное, ей сейчас не было до Антона особого дела, всё её внимание поглощала дочь, но это она хотела ему сказать, – Это доктор Гаше, последний врач Винсента ван Гога сказал ему: «Если бы я написал хоть одно такое полотно, Винсент, я считал бы, что моя жизнь не прошла даром. Я потратил долгие годы, облегчая людские страдания... но люди, в конце концов, всё равно умирают... какой же смысл? Эти подсолнухи... они будут исцелять людские сердца от боли и горя... они будут давать людям радость... много веков... вот почему ваша жизнь не напрасна... вот почему вы должны быть счастливым человеком». Вы – не упустили ли свои «Подсолнухи»?

Они помолчали несколько минут. Потом Антон вернулся к тому, ради чего его позвали:

– Я только могу сказать, что, на мой взгляд – это психическое заболевание. Вам нужен специалист, поймите вы это! Он увидит свою картину, он вам скажет диагноз. А зная точный диагноз, можно...

– Когда я прикоснулась к моей девочке, – сдавленным голосом сказала Елена Львовна, – Меня накрыла такая тёмная волна, словно... Вы простите меня, я такой человек... книжный. Все примеры я могу брать откуда-то из искусства. Помните, конечно, картину Васнецова – птицы Сирий и Алконост? Анечка сейчас как этот Алконост. Она, образно говоря, в чёрных одеждах, и ничего не видит, кроме горя и плача. И все, кто касаются её – чувствуют это бесконечное горе, этот ад... Я всё-таки поговорю со священником. Может быть, он придёт и освятит этот дом, и всех нас.

Глава 9

Возвращаясь домой, Антон не знал, встретит ли он пёсика живым и готов был увидеть распростёртое холодное тельце. Но Рыжик был жив. Правда, он никак не отреагировал на появление Антона – спал. Но лапы у него подёргивались, как будто он бежал. Наверное, ему снилось детство.

Антон приготовил Рыжику еду, сварил куриный суп с овсянкой. И придерживал миску, пока слепой пёс, ориентируясь только на запах, вылизывал все уголки большой миски.

Себе Антон налил только чашку кофе. Он стал кофеманом ещё в институтские годы, когда всю ночь напролёт приходилось зубрить названия костей или мышц. В деревне он хотел отвыкнуть от этой привычки, перейти хотя бы на парное молоко – полезнее, но в минуты, требовавшие сосредоточенности, забывался. Варил в турке крепчайший кофе и подолгу сидел с чашкой в руке, отхлёбывал по глотку.

Антон пытался припомнить ещё какие-нибудь моменты в своей жизни, когда испытывал бы такое отчаяние – чёрное и беспросветное, как сегодня. Когда он учился в школе, его посещали порой мысли о самоубийстве. Наверное, это были неосознанные, подростковые метания, становление психики. Он искал сам себя и мучился этим. Внешне в то время никакого повода кончать с собой не имелось. У Антона была любящая семья, отец и мать в лепёшку бы для него расшиблись. Антон хорошо учился, ни о какой травле в школе и речи не шло. Отчего же он порой боялся выходить на балкон – боялся самого себя: что не удержится, по какому-то сумасшедшему проявлению внутренней воли, перемахнёт через перила и вниз, с восьмого этажа.

О таком спонтанном желании ни с того, ни с сего покончить с собой, говорили и великие. Лев Толстой боялся брать с собой на охоту ружьё, чтобы против воли не застрелиться. Боялся верёвок, чтобы не повеситься. Позже он вложил эти свои страхи в голову одного из главных героев «Анны Карениной» – Константина Левина: «Счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться».

У Антона же эти страхи порой были настолько сильны, что стали одной из причин его обращения к церкви. Он надеялся, что излечит его от них именно духовное врачевание.

Чувство огромной усталости накатывало на Антона в годы учёбы в семинарии, когда он видел, что всё идёт не так, как представлялось в его идеалистических местах. У него опускались руки, когда он говорил с теми, кто пришёл сюда ради карьеры. Кто рвался к высоким чинам, а Бог им, грубо говоря, был «до лампочки». Но Антон говорил себе, что это гордыня – то, что он осуждает других. Начинать нужно с самого себя.

А вскоре жизнь показала ему, насколько он сам душевно мелок. С Лидой ведь он не смог устоять! И ради любви, вспоминать о которой до сих пор было больно, Антон, не задумываясь, свернул с пути, который считал для себя самым важным. С пути духовного совершенствования. Всё, что строил долгие годы – всё разрушил, разнёс, и остался стоять на обломках: задыхающийся и растерянный.

Позже Антон ощущал отчаяние почти, когда взялся за учёбу. Из школьной программы почти всё было забыто, а тут столько задавали учить! Как постичь, запомнить всё это? А ему надо было оправдаться перед самим собой, начать своё служение людям иначе, в иной форме. И Антон штурмовал эти науки, как штурмуют крепости. Он сидел за учебниками ночи напролёт, и, в конце концов, те вершины, которые казались неодолимыми, покорились ему.

Какая боль в его жизни была самой острой? Тогда.. тот случай во время операции... Он даже не сам её проводил – ассистировал. Зимним вечером привезли двенадцатилетнюю девочку, которую застрелила её сестра. В доме было охотничье ружьё, висело на стене. Отец

ходил на охоту так редко, что даже не помнил – заряжено оно или нет. Взрослых не был дома. Дети играли, схватили ружье. Потом какое-то время вырывали его друг у друга. Младшая – побойчее, покрепче, балованная – победила. Навела ружьё на старшую сестру, нажала на курок...

Тогда в приёмный покой отец забежал с раненой девочкой на руках. Её сразу взяли в операционную. Дежурил опытный хирург Бейлин. Но потрясены были оба врача – и старый, и молодой. Антон только раз рассказывал об этом – матери:

– Там была вот такая дыра в груди... Мы пытались, что-то сделать, но... Мы оперировали уже, по существу, труп.

Смерть ребёнка остро сказалась на Антоне, потому что он вообще острее всего воспринимал именно детские страдания. Когда он лечил – делал неизбежное: ставил уколы, вскрывал фурункулы – ему труднее всего было – причинить боль ребёнку.

Но то, что сегодня случилось... С таким он ещё не сталкивался, не испытывал... Он вспомнил слова Елены Львовны: «Я книжный человек, всегда подбираю фразы из книг, чтобы описать...» Антону тоже припомнился Достоевский, его фраза о минуте счастья, которой может хватить на всю жизнь человеческую.

Но ведь и такой минуты отчаяния, которую Антон пережил нынче, могло хватить, чтобы оставшаяся жизнь показалась адом. Чтобы навсегда глаза сделались очами Лазаря. Хотя и воскресил его Христос, но Лазарь уже побывал в аду и то, что он там видел – навсегда отразилось в глазах его...

Собственная воля Антона была смята этой чудовищной тёмной силой, которую он ощутил, когда коснулся руки Ани. Он начал понимать то, чему раньше не мог найти объяснения. Смотря фильмы об экзорцизме, об изгнании бесов, Антон не мог понять – отчего злые силы не покидают одержимого после первой же молитвы, которую прочтёт над ним священник? После того, как первые капли святой воды брызнут на одержимого? Теперь Антону дано было убедиться, как слаб в действительности человек, пусть и саном облечённый, перед этой тёмной силой. Какая это борьба...

И так Антону невыносимо было в этот вечер сидеть одному, что он решил съездить к родителям, хотя и навещал их нечасто – один-два раза в месяц.

Раздолбанная дорога, старая хрущёвка, одна из многих, теснившихся на краю города. Даже во дворе ощущался запах подвала – сырости, и того, что мама называла «пахнет мышами». Отец был на даче, а мама дома. Сначала она испугалась, не случилось ли чего? Антон явился, и вечер уже не ранний. А ведь ему ещё возвращаться...

– Тошка, ты там совсем дошёл что ли? Какой у тебя взгляд затравленный! – мама всё хотела, чтобы он прошёл из полутьмы крохотного коридорчика – к свету, и она его разглядела, – Что случилось? Или мне лучше не спрашивать? У меня там картошка дожаривается, пойдём, я тебя покормлю... Каждый раз, когда я тебя вижу, мне кажется, что ты ещё похудел.

– Хватит тебе выдумывать! – но Антон знал, маму этой насмешливой интонацией не обманешь – она будет с тревогой продолжать с тревогой вглядываться в его лицо. Хотя бы на что-то своё отвлеклась...

И вышло по его. За ужином мама пожаловалась:

– А у меня беда...

– Ты заболела? – встревожился он.

Мама махнула рукой:

– Сейчас прямо! Соседи наши, потомки Рыбака, знаешь?

Антон вспомнил: у них действительно жил на шестом этаже мужик по фамилии Рыбак. Он напивался так, что нередко засыпал, свернувшись калачиком вокруг мусоропровода.

– Потомки его, молодые Рыбаки, ну, сыновья... такая же алкашня, завезли клопов, представляешь? И они расплозились по всему дому. И не говори мне про дезинфекторов – я уже

вызывала. Ни фи-га... Ничего не помогло. Папа сбежал на дачу, делает вид, что лелеет там помидоры, а я ложусь по вечерам в кровать – как в объятия к вампирам.

Это, прости, какие-то неубиваемые создания. Я заливала постель кипятком, я засыпала её дустом, я купила все поморочные – или поморильные? – средства, которые можно было купить в магазине «Природа». Я больше не могу. Они меня доедают... Видишь, все руки искусаны?

– Ты знаешь, – минуту спустя сказала мама, – Если ничего не поможет, я уболтаю папу, и мы продадим эту квартиру. Уйдём отсюда только с паспортами и кредитными карточками в руках. В магазине купим новую одежду, переоденемся где-нибудь в вокзальном туалете, потом сядем в поезд и уедем жить куда-нибудь к морю. И там я напишу бестселлер: «Как клопы изменили мою жизнь».

Милая, взбалмошная, легкомысленная мама, которую папа всю жизнь, как мог, оберегал от жизненных тягот. Мама, которая всегда над всем готова была посмеяться и никогда не отчаивалась.

Антон присел перед ней на корточки, обнял, положил голову на мамины колени. Он никогда не стеснялся побыть вот так, пару минут, ребёнком. Потому что – вот сейчас – через эти несколько минут, ему придется встать, и ехать туда, где он снова возьмёт на свои плечи ответственность за всех и за всё. За Николая Филипповича, Антонину Григорьевну, за Аню, за многих и многих...

– Мам, – спросил он, – А у тебя было когда-нибудь чувство такой безнадеги, как будто ты прожила свою жизнь зря?

– Что всё-таки случилось? – снова заволновалась мама, а когда Антон помотал головой – ничего, мол, стала перебирать его волосы, – Видишь ли, у меня не было такого чувства, потому что я никогда не считала, что должна жить ради того, чтобы что-то сделать или оправдать чьи-то ожидания. И тебя я этому не учила, правда ведь?

Мне твой папа когда-то сказал: «Люсь, ты у меня по характеру какая-то бабочка-однодневка». Потому что я... как-то, вот знаешь, восхищаюсь всем, как будто вижу это в первый раз.

Например, мне вчера Наталья Борисовна в музыкальной школе говорит (мама преподавала в музыкальной школе вокал): «Каждый год я так жду, когда зацветёт сирень, и каждый год мне некогда бывает на неё посмотреть».

Господи, да если так ждёшь, что же может быть для тебя важнее цветущей сирени? Ведь это – несколько дней в году: сирень стоит в цвету. Это важнее, чем, если бы в наш маленький Мухосранск приехала королевская особа. Подойти, окунуть лицо в цветущую сирень! Ведь это – причастие, если твоим священническим языком выражаться. Я и на улице подберу кем-то сорванную веточку сирени. Знаешь, есть такие люди – сломят бездумно и бросят. А я не могу – живое под ногами лежит, изнемогает – надо донести до воды, поставить в стакан. Я ночью встану и спущусь к кусту, который цветет у нас во дворе, но я непременно проведу по лицу лепестками сирени, вдохну её запах.

Ведь очень часто жизнь – болото, понимаешь? Для многих людей – болото. Одно и то же каждый день, сплошная рутина. Ведь шагреневая кожа у каждого из нас на стенке висит. Работашь, платишь за исполнение своих желаний – что-то купить, съездить в отпуск, а жизни остаётся всё меньше, меньше... И вот по этому болоту можно пройти – только по этим «кочкам». Цветущая сирень – это тоже «кочка», и любимая книга, и посиделки на кофе с подружкой. И поездка к морю. И ты замечаешь, что уже не тонешь, тебя не засасывает, и ты не видишь болотной жижи, образно говоря, а видишь ягоды, растущие на этих кочках, видишь небо над головой, птиц видишь и слышишь. И жизнь твоя прекрасна...

Уже когда Антон прощался, почти на пороге, мама вспомнила:

– Слушай, звонил Мишка... да, тот самый, твой бывший сокурсник. Он хотел предложить тебе какую-то интересную работу. Но она связана с переездом. Ты позвони ему узнай! Может, не будут тебе больше в голову такие мысли приходить, что всё зря и без толку.

– Не могу я сейчас уезжать.

Глава 10

На всякий случай Антон завернул ещё к папе Диме и предупредил, что Котовы, наверное, попросят его в ближайшее время освятить старый дом. Он не любил заходить к папе Диме по вечерам – слишком там было уютно. И отзывалось в душе Антона это какой-то глухой болью, он слишком остро чувствовал свою неприкаянность.

Ольга (язык у Антона не поворачивался назвать её «матушкой») обязательно усаживала его за стол. Может быть оттого, что не было у неё другой работы, кроме домашней, Ольга весь свой нереализованный творческий потенциал (она окончила художественное училище и когда-то мечтала писать картины) внесла в те рутинные дела, которые обычно так утомляют любую хозяйку.

Оставалось диву даваться, когда на столе появлялись какие-то особенные «цветные» кексы – с полосами из малинового и лимонного крема. Холодец, формочками для которого служили яйца – это было сложно, полагалось сначала через небольшие дырочки выдуть из них содержимое, а затем заполнить бульоном. Получалось нарядно и красиво, а от запаха мяса и чеснока рот наполнялся слюной. Впрочем, даже самые простые блюда выходили у Ольги такими, что за уши не оттащишь. Чего стоили хоть её вареники с домашним творогом...

Худенькая, как девушка, со светлой косою, переброшенной через плечо, Ольга сидела с домочадцами и гостями за столом – молчаливая, но всегда готовая слушать, улыбнуться, наполнить снова опустевшую тарелку, налить чаю.

Из соседней комнаты слышно было, как младшая дочка, Ксана, играет на пианино. Пальчики ещё неуверенные, то так терпеливо и старательно перебирала ноты малышка, что сомнений не было – научится. И старшая дочка, Олеся, тихонько, чтобы не помешать разговору, подходила к матери с тетрадкой, чтобы та посмотрела, правильно ли решена задача. Нигде нельзя было согреться душой так, как здесь. Но нигде Антон больше не чувствовал себя таким неприканным.

– Ты пойдёшь святить дом им? – тихо спросил он папу Диму.

Тот удивился до крайности:

– Отчего ж нет? Мне вообще интересно с ними поближе познакомиться. Мать-то вряд ли к нам в церковь ходить сможет, я видел, она, если даже по саду еле бродит – там два шага пройти надо, а она всё равно палочку с собой берёт. Но Елена Львовна – женщина очень обеспеченная, пожертвовать может хорошо. А с дочкой её я бы поговорил с удовольствием. Чего она дома в четырёх стенах мается? Глядишь, ходила бы к нам почаще, там бы и замуж вышла...

– Но такой старый дом неосвящённым быть просто не может, подумай сам...

Папа Дима пожал плечами:

– Ну и что? Доподлинно мы этого не знаем, установить не можем, что ж препятствует доброму делу? Там можно и с хозяйками побеседовать, и дом посмотреть, и, может, какие-то советы дать – Елене Львовне и Ане на пользу. Ты чего боишься? Что Аня больна? Можно её заодно исповедать и причастить...

Но на душе у Антона становилось всё тревожнее.

Через два дня, вечером в пятницу, Елена Львовна позвонила ему и попросила на другой день прийти и присутствовать на освящении дома. Суббота у Антона была выходным днём, и отказывать не было причин, но он всё же спросил:

– А зачем я? Или... Ане хуже?

– Ане плохо, – ответила Елена Львовна, – Я потом, я вас зову, потому что ещё хотела поговорить с вами. Я, наверное, соглашусь на больницу, как вы предлагали. И вообще мне будет спокойнее, если вы будете рядом с нами стоять. Пожалуйста, завтра в одиннадцать.

...Когда Антон пришёл к Котовым, папа Дима уже сидел за столом. Маша налиwała ему кофе, но из кухни доносились куда более вкусные запахи. Очевидно, основное застолье, намечалось «на потом».

Вообще папа Дима, когда его приглашали на дом – освятить ли дом, окрестить младенца, исповедать и причастить старика, был весьма лоялен. Он мог засидеться за трапезой и неспешным разговором с хозяевами, но тот же дом перед освящением осматривал лишь беглым взглядом. Мог, конечно, попросить убрать со стен какие-нибудь картины с «обнажённой», или африканские маски, если таковые у хозяев имелись. Но ни рыться в книгах, проверяя библиотеку хозяев на наличие оккультных изданий, ни шерстить диски с фильмами, он бы никогда не стал.

Зато, прихлёбывая кофе из маленькой фарфоровой чашки, папа Дима, не торопясь и обстоятельно перечислял нужды храма. Строительство почти подошло к концу, скоро надо будет расписывать потолок и стены, платить художнику. А в трапезной сколько всего не хватает! Нужна хорошая плита, большой холодильник, старый-то уже на ладан дышит. Вот о скольких мелочах у настоятеля должна голова болеть! А пуще всего мечтается о собственной скважине, чтобы не зависеть от общей подачи воды – в селе весьма нерегулярной. Ведь всё срывается, когда отключают неожиданно эту самую воду. Ни ребёнка крестить, ни чаю согреть для тех прихожан, что любят задержаться после службы, пообщаться батюшкой.

– Я постараюсь вам помочь, – сказала Елена Львовна – Вы приготовьте документы, чтобы я видела, какие суммы нужны...

– Сердечно я вам благодарен, что вы собираетесь нас поддерживать. Вы, так сказать, продолжаете добрые начинания Елизаветы Августовны, которая столько лет жила в этой усадьбе. Она тоже добрые дела творила – в память сына своего. Вот так нас Господь иногда вразумляет – пока не пошлёт нам бед – не вернёмся мы в лоно Церкви Христовой...

Наконец, перешли, собственно, к освящению. Папе Диме предстояло прочесть молитвы, окропить дом святой водой, прилепить на обои специальные наклейки с изображением Голгофы. На все стены их наклеить, согласно сторонам света.

– Давайте начнём с первого этажа, – предложила Елена Львовна, – так до чердака и поднимемся. А напоследок оставим Анечкину комнату. Анечка, бедная, болеет...

– Вы предупредили её, что мы к ней зайдём? – спросил папа Дима.

– Конечно, само собой. Я бы очень хотела, чтобы она исповедовалась и причастилась. Она крещёная, не думайте, – заспешила Елена Львовна, – Но она сейчас или вообще со мной не разговаривает, или говорит так странно, что я не могу её понять. А к причастию надо же подготовиться... Мы вот потом с доктором ещё поговорим. Может быть, всё-таки положим Анечку в больницу.

Папа Дима кивнул благосклонно. После обещанной новой плиты, и, тем более скважины, он бы им что угодно пообещал. И причастить, и исповедать, и гопака перед Анечкой сплясать, чтобы она улыбнулась.

И вот, двинулись. Процессия получилась самая торжественная. Впереди торопилась взмыленная Маша – это ей накануне выпало проводить генеральную уборку, вылизывать весь дом, конечно, на пару с Симой, о которой тут никто, как всегда, не вспоминал.

Маша открывала двери в очередную комнату, и отступала, чтобы священник мог войти.

За Машей шествовал высокий – под метр восемьдесят – донельзя представительный в церковном облачении папа Дима, со «святым душем». Позади – Елена Львовна с палочкой. Хозяюку для страховки поддерживал под руку Антон – всё-таки лестницы, всё-таки влажное дерево, после того, как папа Дима окропил тут всё подряд.

Так прошли они по первому этажу, затем по второму, минуя только Анину комнату. Папа Дима на несколько мгновений остановился в сомнениях перед лесенкой, ведущей на чердак.

– Я открою, у меня есть ключи, – заторопилась Маша.

– Ну, я уж туда не полезу, – сказала Елена Львовна, – Вы на меня не обидитесь, если я вас тут подожду.

Маша отперла чердак – тот самым мистический чердак – отперла самым обыкновенным ключом, положила его в карман и спустилась с лесенки.

Антон последовал за папой Димой.

Ему давно хотелось увидеть «святая святых» Казимирыча. Здесь опальный придворный алхимик до конца дней бился – над какой задачей? Над мечтою – сотворить золото из ничего? Или волновали его другие замыслы, тайну которых он унёс собой в могилу?

Чердак был он огромным, и казался пустым. Окна были только в покато́й крыше, и виднелось за ними только небо. Высоко были эти окна, нельзя было подняться и заглянуть в них.

На пол падали косые квадраты солнечного света. Видно было, что Маша вчера и тут убиралась, мыла полы. Но не везде: в тех углах, где оставалась кое-какая мебель, пыль всё-таки лежала нетронутой. Видимо, Маша была не до конца уверена, что они поднимутся на чердак.

Мебель тут была хоть и старинная, но вряд ли ценная. Вот массивный комод, какой-то ободранный, точно по нему прошлись наждачной шкуркой. К тому же – без одного ящика, вместо него зиял тёмный проём. Несколько сломанных стульев и кресел свалены друг на друга, совсем уж в угол задвинуты коробки с каким-то барахлом. А на стене висят часы, лишившиеся маятника. Видно, сюда сносили, как и везде сносят на чердаки, то, что в доме уже пригодиться не могло, но выбросить по каким-то причинам было жалко. С каждой вещью связаны воспоминания...

– Надо нанять кого-то всё-таки, чтобы этот мусор повывезли, – задыхающимся голосом сказала Маша, всё-таки вскарабкавшаяся за ними на чердак.

В глаза Антону бросилось большое – больше человеческого роста – зеркало, стоявшее в самом тёмном углу. В дубовой раме, внизу виртуозно вырезана гроздь сирени. Стильная вещь, как бы сейчас сказали. Но само зеркало в использование уже не годилось – поверхность его помутнела, отражения получались расплывчатыми.

– Да вот то же зеркало – как выкинешь? – продолжала тётя Маша, – Говорят, примета плохая. Что разбить, что выкинуть...

– Приметы – суть суеверия, – наставительно заметил папа Дима, – На них обращать внимание не нужно.

Антон был несколько разочарован. Он всё-таки ожидал увидеть тут какие-то следы химических опытов Казимирыча: колбы, склянки... Ничего похожего. Чердак выглядел пустым, унылым и – несмотря на Машины старания – довольно пыльным.

– Теперь к Анечке, – сказала Елена Львовна, когда они спустились вниз.

Но вот диво – комната Ани была заперта. Елена Львовна вздохнула, переступила, всё более грузно опираясь на руку Антона, и принялась стучать:

– Доченька, открой, мы только на несколько минут тебя побеспокоим.

Ответа не было.

– Странно, я же её предупреждала, – пробормотала Елена Львовна, – Может быть, ей плохо стало?

– У меня ещё один ключ есть, – сказала Маша, – Там, на гвоздике в прихожей висит. Сейчас принесу.

Так топтались они у Аниной комнаты несколько минут. Елена Львовна стучала и окликала дочь всё настойчивее. Она была уже почти в панике. Уже снизу слышались шаги Маши, поднимающейся к ним с ключом. И вдруг дверь поддалась. Её не отперли. Казалось, её удерживали в течение некоторого времени, не давая им всем войти, а потом вдруг отпустили.

Комната Ани была пуста. Видно было, что Маша и тут старалась навести порядок: всё прибрала, разложила по местам. А потом хозяйка достала что-то из тумбочки – вон, ящик выдвинут. Разбросала по туалетному столику лекарства, и...

Елена Львовна почти подбежала к окну:

– Не может быть! Вон она идёт! Как же она вышла? Ведь сидела тут, сидела безвылазно несколько дней. И шагов мы не слышали, чтобы она спускалась... Лестница же скрипит, понимаете?

Елена Львовна беспомощно крикнула в открытое окно:

– Аня! Анечка!

Но дочь была уже далеко, и услышать её явно не могла.

Аня шла от дома в сторону леса, шла размашистыми шагами, точно машина. Встань у неё на пути – снесёт. Руки её двигались тоже точно механические, в лад шагам – раз-два, раз-два. На длинную ночную рубашку Аня набросила красный халат. Она шла, не оборачиваясь, они видели только её спину.

– Да что же это? Антон Сергеевич... Её же вернуть надо...

– Смотрите, смотрите! – вдруг выкрикнула Маша.

Они увидели, как вдогонку Ане, бежит маленькая фигурка в длинной юбке.

– Это Сима.

Лёгкая Сима сразу догнала Аню, обняла за плечи, остановила, повернула. И, повела обратно к дому. Сима что-то говорила ей – голова была наклонена к голове.

– Господи, как она не боится прикасаться к ней?! – подумал Антон – Или на неё это не действует?

Они все поспешили на крыльцо, встречать Аню. Она шла, глядя под ноги, руки её теперь были сжаты в кулаки.

Потом Аня подняла голову и взглянула прямо в лицо папе Диме. И вот странно – ничего женственного не осталось в её лице. Это было искажённое страданием лицо существа, не имеющего пола. Глаза казались совсем чёрными:

– Тебя я не боюсь, – сказала она медленно, сдавленным голосом.

И пошла в дом, и все расступились перед ней. Антон заметил, что никто старается не касаться Ани. Сима, часто дыша, остановилась рядом с ним.

– Сима, – сказал он, – Давайте отойдём с вами на минутку, поговорим. Когда вы перестанете меня бояться? Что я вам сделал плохого? Мне нужно вас только спросить...

Они отошли за угол дома, туда, где кучей лежали дрова. «Зачем тут дрова? – мельком подумал Антон, – А, для печки-голландки... Наверное, они растапливают её в холодные дни...».

– Давайте сядем, – попросил Антон, выбирая подходящее бревно.

Сима опустилась напротив него, сжала руки в замок на коленях, «закрылась». На лбу её он наметил мелкие капли пота.

– Что вы сказали Ане? – спросил он, – Почему она с вами пошла? Вы знаете, куда она хотела уйти? Она так целеустремлённо шла... Сима, как вам это удалось?

Сима, наконец, заговорила. Голос у неё был сдавленным от робости:

– Аня – она ведь очень больна? С ней ведь что-то очень не так, правда? Я просто увидела, что она идёт, и глаза у неё – чёрные. Совсем чёрные, вот так бывает, когда одни зрачки остаются. И в таком состоянии она куда-то пошла. Надо было её остановить, и вернуть. Но меня сперва как к земле приморозило. А потом, когда отпустило, я и побежала наперерез.

– Вы давно тут живёте? – вдруг спросил он.

– Всегда, – сказала она, – И здесь давным-давно беспокойно. Мне дедушка рассказывал, а потом мама. Ещё Елизавета Августовна, прежняя хозяйка усадьбы... она ведь была готова с собой покончить. Когда сына потеряла по своей вине. Он был такой красивый, что девушки посмотрят – и головы у них кружатся. А как играл на гитаре, а как танцевал... Мать мечтала, что у него будет военная карьера, он останется при дворе, сделает партию, жена будет с именем,

с состоянием... и вдруг он влюбляется в некую девицу без рода, без племени. Даже не дворянка – мешчаночка.

Елизавета Августовна была в ужасе: «У меня невестка – по отчеству Пахомовна?» И она сказала: если сын посмеет вступить в этот брак – она бросится в реку. А они ведь очень любили друг друга – мать и сын. И Мишенька этот отступился от брака только ради того, чтобы сохранить матери жизнь. Боялся, что она действительно бросится в реку, или повесится. А потом брат этой девицы вызвал его на дуэль.

Потом... Елизавета Августовна, когда привезла сюда сердце Мишеньки... она надеялась, что сама тихо угаснет. Она ничего не ела, её невозможно было накормить. Кусочек просфоры, глоток святой воды – и всё. Но Бог длил и длил её дни. А потом духовник сказал ей, что она может искупить вину лишь одним: если до последнего своего часа будет делать разные добрые дела, – Сима коротко вздохнула, – Вот так и получилось, что Елизавета Августовна всё своё богатство при жизни успела раздать – тут вот строила для людей, то больничку, то школу, бедным жертвовала... А жила она долго... очень. И всё же я чувствую, как ей хотелось скорее уйти! Место это, что ли, на людей так действует?

Антон давно уже заметил это, но спросил девушку только сейчас:

– Сима, а вы сами – почему такая бледная?

Ему очень неловко было спрашивать. Потому что следующий вопрос должен был звучать: «А вы нормально питаетесь, не голодаете?»

Нельзя же так, в самом деле. Но Антон заметил ещё кое-что:

– Ну-ка поверните голову... Ангиной не болели недавно? Не простужались?

Сима вздрогнула и сжалась, когда на её горло легли его сухие тёплые пальцы. Быстро пробежались по шее:

– Лимфоузлы увеличены, особенно справа.

Антон и пульс ей пощупал. Частил пульс, трепыхался как у зайчишки, но всё-таки может, потому, что так боялась Сима его.

– Температура нормальная?

– Откуда я знаю, – буркнула Сима, – Вас же к Ане позвали, лечите Аню. Что это вы обо мне?

– Ане я мало чем могу помочь – её бы в клинику... А тут что делать – запереть её?

Но делать что-то было необходимо. На другой день ближе к вечеру, Антону позвонила Елена Львовна:

– Я согласна поместить Анечку в клинику. Только это должна быть очень хорошая лечебница. Чтобы Аню обследовали, чтобы понять, наконец, что с ней. Я так больше не могу, и никто не может. А Анечке хуже всех...

– Хорошо, я узнаю, куда можно её отвезти...

– Только я прошу вас – не за граница, Россия. Где-то всё-таки, чтобы не очень далеко. И – вы поедете с ней? Антон Сергеевич, я всё, всё оплачу. Сколько скажете, столько и заплачу. Аню же надо отвезти, я не могу доверить её никому чужому. Вы же понимаете... Если кто-то посторонний испытает то, что испытали мы, он просто бросит Анечку по дороге, сбежит.

У Антона упало сердце – ему тоже очень хотелось от этой миссии отказаться, но как?

– Елена Львовна, я всё узнаю, тогда и обсудим, – сказал он.

Глава 11

Уже на следующий день Антон предложил Елене Львовне вариант – частная психиатрическая клиника в Подмоскowie. Стационар. Условия – как в хорошем отеле. Но самое главное – врачи. Многие имена Антону известны по институтским учебникам. Профессионалы, им можно доверять.

Ехать удобнее всего было поездом. Вечером садишься, утром в Москве, на Казанском вокзале.

– А там я не буду брать даже такси, позвоню в клинику, и за нами пришлют машину.

– Но как вы довезёте её туда – на таблетках, на уколах? – со страхом спросила Елена Львовна.

Только Сима могла сейчас прикасаться к Ане, ухаживать за ней, как за обычной больной. Для остальных это было все равно, что сунуться прямо в Чернобыль. Аккурат в четвёртый реактор. Но не Симу же было просить, в самом деле, сделать Ане укол на дорогу?

– Не беспокойтесь, я справлюсь, – сказал Антон, внутренне содрогнувшись.

– Я дам вам свою кредитную карту, тратьте столько, сколько сочтёте нужным. Только, самое главное, чтобы врачи сказали, что с Анечкой на самом деле, – умоляла Елена Львовна.

С клиникой удалось решить вопрос очень быстро. Там готовы были принять Аню хоть завтра, и удивились только, что Антон – врач, затруднился с постановкой диагноза.

Но, в принципе, её брали, что бы там ни было – депрессия, шизофрения, психоз. Аня ещё ни разу не показывала себя буйной, и Антон почти твёрдо был уверен, что на большой дозе успокоительных препаратов, в спальном вагоне, она доедет благополучно. А прямо у поезда их будет ждать машина.

Когда Антон приехал в усадьбу окончательно договариваться о завтрашнем дне – дне отъезда, в руках у него была большая сумка. Он сказал Маше, которую встретил во дворе, что к хозяевам зайдёт чуть позже, а сейчас попросил проводить его к Симе. Редкий случай – она была у себя.

Сима вскочила со своего топчанчика навстречу им. Были на ней та же длинная юбка и кофточка – то ли растянутая, то ли с чужого плеча, на несколько размеров больше.

– Сима, – сказал Антон, ставя на пол сумку, и открывая её, – Вот тут старая собака, которую я подобрал. Вероятно, она доживает свои последние дни. Приглядите за ней, пока я буду в отъезде. Кормите чем-нибудь жидким – суп, молоко. Зубов там почти уже не осталось. Вот деньги.

Антон старался не оглядываться вокруг, но невольно задавался вопросом, как Сима может жить в этом чуланчике, в этом застенке? Полутьма, узкое окошко под потолком. Топчан, на котором какое-то тряпье – ни одеяла, ни матраса... Что-то вроде тумбочки в уголке. Стул, с обломанным краем – сядешь, брюки порвёшь непременно.

Как она может со всем этим мириться? Ведь ей восемнадцать лет, чёрт побери, восемнадцать! Ведь жизнь должна же ей что-то обещать, а на самом деле – никакой надежды впереди.

– Сима, вы готовьтесь, завтра поедете с нами – я по дороге завезу вас в больницу, сделаете анализ крови. Думаю, у вас гемоглобин очень низкий. Слышали, в старину была такая болезнь – малокровие? А я же тут врач, я за вас всех отвечаю...

– Я всё равно не смогу лечиться так, как в старину, – буркнула она, – разной там печёнкой и красным вином. Я знаю, вы боитесь ехать с Аней. Я вам и так помогу довезти её до поезда. Не беспокойтесь.

У Антона вспыхнули щёки:

– Я вовсе не... Сима, что вы такое говорите! Кстати, давайте мерить температуру, я тут и градусник привёз.

У неё было тридцать восемь и три. Антон подумал, что надо непременно послать её завтра ещё и на рентген.

Сима увидела, как Рыжик обследует её чуланчик, пытаясь понять, где же он находится, и сослепу натывается на все углы, и без всяких колебаний взяла его к себе на топчан.

Потом Антону пришлось долго пробыть у Елены Львовны. Сначала они зашли к Ане. Воздух в комнате был застоявшийся. Теперь тут боялись открывать не только дверь, но и окно. Аня спала, но спала нехорошо. Не шевелясь, на боку, ни единого движения – как мёртвая. Наверняка у неё уже затекла рука, на которой она лежала. Лицо за несколько дней заострилось. Что будет дальше?

Антон вспомнил слова Симы, и заставил себя подойти к Ане, будто ничего нет в этом особенного:

– Вы её переодеваете? – спросил он, – Она вспотела, бельё мокрое, нужно сменить.

Он заметил, как замешкалась Маша.

– Я помогу, – сказал он, – Давайте её переоденем.

Аню посадили. Она сидела вялая, не открывая глаз. Антон назначил ей снотворные. Если бы Аня без него решила куда-то уйти, не было никакой вероятности, что домашние смогли бы её удержать. Пусть лучше спит.

Сменили постель, сменили и промокшую от пота рубашку. У Маши тряслись руки. Антон прислонился к стене, постоял несколько минут с закрытыми глазами. Ему хотелось читать молитвы. Вернее, это было инстинктивное чувство – когда захлёстывает отчаянье, нужно читать молитвы, может, и отпустит. Может. И он пересилит тот беззвучный крик, который сейчас рвался из него: «Я не хочу, не хочу быть!»

Потом Антон сидел у Елены Львовны, и согласился выпить полстакана коньяка. И рассказывал, какая хорошая та больница, куда они едут – отдельные палаты для каждого, и знаменитый главный врач, по книгам которого Антон учился в институте. И обследование, конечно, сделают за считанные дни. И лечение самое щадящее, никаких препаратов, от которых можно превратиться в зомби. И можно будет все время быть на связи, звонить хоть несколько раз в день. Он повторял это снова и снова, пока Елена Львовна не успокоилась немного, и не разрешила ему уйти.

На другой день, Антон вызвал такси, и приехал к Котовым после обеда. Аню уже одели, она сидела в кресле в гостиной. На ней было тёмное платье, такое просторное, что напоминало мешок. Видимо, Маша специально выбрала такое, чтобы надеть его прямо через голову, как можно меньше прикасаясь к девушке.

Конечно, рядом стояла большая сумка – с одеждой, со всем, что может понадобиться.

Аня посмотрела на Антона так, как будто и не было ничего, никакой болезни, как будто они продолжали начатый разговор:

– И будет меня пытать Михаил, – с усмешкой сказала она.

Антон не понял сперва, а потом сообразил. Клинику возглавлял Михаил Николаевич Гаврилевский. Занимался ли он лично больными?

– Да только Михаил сам испугается, – продолжала Аня, – Я ведь всех знаю, кого он искалечил. Поговор-и-и-им, – распевно пообещала она.

– Сима! – крикнула Маша.

Прибежала Сима, прижала Аню к себе, стала укачивать, как маленькую. Она продолжала придерживать Аню, когда Антон сделал ей укол. И вот странно – пока Аню удерживала Сима, Антон не испытывал того удушающего состояния тоски и ужаса, которое уже было ему знакомо. Что-то такое он чувствовал – но было легче, гораздо легче.

Лекарство начало действовать. Глаза у Ани стали закрываться. Антон с Симой вдвоём довели её до машины. Посадили на заднее сиденьеб

– Я сяду рядом с ней, – сказала Сима, – Вы уж впереди...

Она тоже сегодня выглядела необычно. Умыта, гладко причёсана, платице с воротничком где-то выискала. И бледная была, как тот воротничок.

– Держится температура?

– Я выпила те лекарства, что вы мне оставили, – уклончиво ответила она.

У больницы остановились буквально на пять минут. Антон боялся оставлять Аню надолго. Он сдал Симу с рук на руки дежурному врачу, которого хорошо знал, с которым раньше работал. Попросил взять анализы, сделать рентген и на такси отправить домой.

– А если что-то серьёзное – кладите, – шепнул он так, чтобы Сима не слышала, – Мне отзвонитесь тоже...

Потом они сидели с Аней на вокзале, и те кто проходил мимо, Аню наверное, принимали, за утомлённую дорогой пассажирку. Которая, в ожидание пересадки, готова прикорнуть вот тут, прямо на вокзале, в уголке.

Когда объявили их поезд – на Москву, Антон нагнулся, чтобы разбудить Аню, и тут в кармане рубашки завибрировал телефон. Несколько минут у него ещё было:

– Да, – откликнулся он, – Слушаю, да...

Звонил тот самый врач, которому он оставил Симу, и голос у него был напряжённым:

– У твоей знакомой – острый лейкоз, и как она ещё на ногах держится с такими показателями – уму непостижимо.

– Так кладите её немедленно, можете это сделать? Документы, какие надо, я через два дня все привезу.

– Сейчас прямо.... Кого я тебе положу? Она написала расписку, и сбежала из больницы.

– Как, сбежала?

– Ногами! – окончательно рассердился дежурный врач, – Я даже такси не успел ей вызвать.

Глава 12

В мягком вагоне пассажиров ждали как дорогих гостей. Проводница – подтянутая улыбочивая блондинка средних лет – негромко называла номер купе, подсказывала:

– Второе по коридору.

А там уже всё готово было. Застелены постели, больше напоминающие уютные диванчики, на столике – наборы с ужином, свежие газеты.

Аня была ещё под сильным действием препаратов. Она прошла и легла. Антон едва успел взять одеяло с постели, чтобы потом её же укрыть. Он устраивал сумки – большую Анину и лёгкую спортивную свою, раскладывал вещи, переодевался – Аня спала, и можно было не выходить в туалет, переодеться прямо здесь.

А в голове были неотступные мысли про Симу. Как она добралась домой? Были ли у неё деньги на дорогу, или она вышла на трассу – дяденька, подвезите Христа ради? Доехала ли благополучно?

Потом пробудился в нём врач, и он стал думать, что делать по приезде. К кому обратиться, в какую больницу её устроить. Слишком хорошо он понимал, что пустить всё на самотёк нельзя, что если привезти Симу и просто сдать в отделение гематологии – даже если ему удастся уговорить её всё-таки лечиться, то она – безответная, не умеющая ни спросить о себе, ни настоять ни на чём, умрёт там очень быстро. Спросу за неё никакого не будет – сирота, почти бродяжка.

Значит, надо искать тех, кто не отнесётся к ней равнодушно, надо сноситься с какими-то фондами. Симе должны помочь, ведь она ещё почти ребёнок, по юным своим годам подходит под разные программы. Надо вернуться скорее, взять её за руку и прямо тащить лечиться. У неё должен быть шанс.

Он думал и о том, где взять денег, которые неизбежно понадобятся, с кем из своих друзей-врачей снестись по приезде, кто сможет подсказать хорошую больницу, где в самом даже тяжёлом случае от Симы не откредитуются, а будут пробовать на ней разные экспериментальные программы.

А затем его мысли потекли совсем уже странно. Сначала он подумал о том – догадывалась ли Сима, что с ней что-то не так? И знает ли, понимает ли она теперь в полной мере, как опасна её болезнь? И, отказавшись от лечения, осознаёт ли она, что в таком случае, неизбежно умрёт?

Юные обычно думают, что они бессмертны. А если мысли о конце приходят Симе в голову, то как ей думать об этом? Никого из близких, ни копейки за душой. На кого ей надеяться, кто возьмёт её похороны на себя? Тётя Маша? Поможет чем-то папа Дима? Каково ей будет самой, в восемнадцать-то лет, думать о том, что на неё наденут после, и из чего заплатить тем, кто будет провожать её в последний путь.

Много раз люди доверялись Антону, полагались на него полностью. Взять хотя бы то, что человек с полным доверием ложится к тебе на операционный стол. Ты отвоёвываешь его у смерти, и выхаживаешь после – беспомощного. Буквально учишь заново стоять на ногах, ходить... Но никогда ещё не было у Антона чувства, что он причастен к судьбе, ответственен за жизнь настолько беспомощного существа... И при этом Сима была будто в чём-то его сильнее. Ни разу не заметил он в ней внутренних колебаний – подойти к Ане, обнять её, ухаживать за нею. А как это мучительно было ему!

Начинало уже темнеть за окном. Антон приподнялся, чтобы включить светильник над постелью. И увидел, что глаза Ани открыты, и она смотрит на него. Причём смотрит как раньше – испуганным страдающим взглядом. И лоб её покрыт мелким бисером пота.

Он рывком нагнулся над ней:

– Как вы себя чувствуете?

У Ани глаза вскипели слезами:

– Антон Сергеевич, мне так плохо! Я так устала! Сделайте что-нибудь, я больше не могу!

– Но скажите же мне, что значит «плохо»? Что вы чувствуете?

– Я как будто давным-давно не спала...

– Но вы только что проснулись.

– Я не сплю, Антон Сергеевич, не сплю – я будто в чёрную яму проваливаюсь. Знаете, вот когда болеют тяжело и борются за каждую минуту, за каждый вздох, когда думают – скорее бы ночь эта кончилась, увидеть бы день ещё хоть раз. Так я хочу выбраться из этого омута, о котором вы говорите – «сон». А когда я просыпаюсь, это снова не я. Точно что-то вытесняет меня, и душит, душит... Мне самой не остаётся места. И опять сознание тонет – в темноте. Что это, Антон Сергеевич?

– Анечка, уже через несколько часов мы будем в больнице. Там вам смогут помочь, обязательно. Вы только постарайтесь не сопротивляться. Всё, что вам будут говорить – надо исполнять.

Она закрыла глаза и снова прислушивалась к ощущениям внутри себя. На лице её было выражение муки.

– Вы, может быть, хотите поесть? Или пить? Чаю? Вы давно не ели.

Голова её качнулась на подушке:

– Нет, нет...

И ещё она открыла глаза, и ещё спросила:

– Антон Сергеевич, а если мне уже никто не сможет помочь? Так ведь я больше не могу – как сейчас. Вы врач, подскажите мне, как легче можно умереть?

– О чём вы думаете, Анечка?!

Аня повернула к нему голову, и он увидел, как глаза её начинают наливаться чернотой. Так бывает в летний день, когда на солнце набегают туча, и сразу темнеет всё вокруг. Антон поспешно отнял руки, которыми придерживал Аню за плечи.

Аня медленно села, смотрела в окно. Её лицо менялось. Тени ли это были от вечернего света? Ничего не осталось робкого, мягкого в её лице, как было только что. Теперь оно казалось холодным, застывшим.

– Всё пошло не так, правда? – спросила она, спустя несколько минут. Даже не спросила, а будто утверждала.

– Что не так, Анечка?

– Всё, что ты хотел. Полное разочарование. Хоть что-то из твоих идеалов, уцелело, а? Тебе на смехон теперь твой прежний религиозный пафос? Это же надо было родиться таким наивным и поверить, что в любом храме всё – как в раю, что там все – без греха. А потом увидеть, что там всё, как в миру. А того, кто готов служить истово, считают просто дураком, и смеются над ним.

– Аня, – со страхом спросил он, – Почему вы об этом говорите? Вы же об этом ничего не знаете...

– Зато ты теперь знаешь, – сказала она, – А самое страшное, что ты не веришь теперь, что на том свете – что-то есть. После своей медицины – это ж надо было, из огня да в полымя! – ты думаешь, что там нет ничего. И ради чего тянуть эту лямку, мучиться и страдать здесь, если через несколько лет всё оборвётся? И не будет никакой награды праведным. И не будет никакого возмездия подлецам. Будет одна только смерть, чёрная яма. Небытие.

Глаза Ани уже не были глазами усталого мудреца, теперь в них сверкало что-то безумное:

– Да только ты не прав! Там есть... И там отнюдь не темнота. Там ждёт такая вечность, которой не избежать... Ты её сегодня увидишь.

Антон уже на ощупь перебирал лекарства в сумке: вот шприц, а вот та плоская длинная коробочка с ампулами. Он набрал лекарство – прикинул, что уснёт она сейчас только на двойной дозе.

А потом был коньяк, который он вёз в сумке для себя. Он дожидался, пока Аня закроет глаза и хватанул стакан.

Как только Аню одолел сон, Антон вышел в коридор. Он решил не заходить в купе возможно дольше, но дверь держал открытой, чтобы видеть, что с Аней не происходит ничего плохого.

Антон сидел, бесцельно смотрел в окно, за которым уже сгущалась тьма. Потом была станция. Поезд стоял целых двадцать минут, и он, посмотрев еще раз на спящую девушку, решил выйти. Ходил по перрону, жадно вдыхал холодный, ночной почти воздух, курил.

Подошла к нему бабушка, которой, в её годы, давно бы уже полагалось спать в тёплой постели, а она дежурила тут на вокзале, ждала поздние поезда. Бабушка везла за собой клетчатую сумку на колёсиках. Она торговала картошкой. В полиэтиленовом пакете – пять ещё горячих варёных картофелин, посыпанных нарезанным укропом, и пара солёных огурцов. Это вам не чипсы и не дошираки, которыми пассажиры перебиваются в вагоне.

Антон купил картошку, и ел её прямо на перроне, в вагон он поднялся только тогда, когда объявили отправление поезда, и проводница стала торопить тех, кто докуривал свои сигареты: – Быстрее, сейчас тронемся...

Больше всего поддерживала Антона мысль, что коньяка ещё осталось очень прилично, не меньше половины бутылки. А завтра, в восемь двадцать утра, когда поезд прибудет в Москву, их уже будет ждать машина лечебницы. И мелькнула мысль, какая-то ехидная, злобная: «Интересно, господа психиатры, что вы со всем этим будете делать?»

Но впереди еще была ночь. Теперь до утра стоянок больше не будет. В соседнее купе дверь тоже была приоткрыта. Там ехали два гея. Они тоже припозднились, не спешили ложиться спать. Тот, что брутальнее, смотрел фильм по плееру, обнимая своего друга так, как парни обычно обнимают девушек – по-хозяйски закинув руку ему на плечо.

Второй, худенький, изящный, совсем молодой (и двадцати лет ему, наверное, не было, напоминал он стриженую девчонку), вышивал, умело обращаясь с иглой. Вышитая картина – букет лилий на столе, в глиняной вазе – была им почти закончена.

Антону хотелось напроситься к ним в купе, в конце концов, не последняя бутылка коньяка у него была – с Аней нельзя ехать без солидного запаса. Но он не посмел. Чувствовал: у них своя каста, его не примут. Хотя ему ничего от них не надо было, только, так сказать, погреться у очага. Вместе этого он налил себе ещё полстакана.

Через некоторое время он понял, что засыпает сидя, голова падает на грудь, и как бы ему не свалиться прямо в коридоре. Из раннего детства он помнил, как такой же вот пьяный дядечка ночью свалился с верхней полки и выбил себе зубы. Как он утром выл, обнаружив это!

Антон прошёл в купе, лёг поверх одеяла и почти сразу уснул.

...Оказывается, это была просто пустыня. Но не живописная земная пустыня – с барханами, с какой-никакой растительностью, хоть с теми же кактусами. С изредка пробежавшей ящеркой, Земная пустыня, где ночами бывает холодно, и жгут свои костры бедуины, а над головами – небо, полное звезд.

Это была – без конца и края – серая, растрескавшаяся, бесплодная почва. Самое страшное слово – бесплодная. И небо над ней – такое же серое. И ничего, ничего вдали, кроме горизонта, где земля и небо сливались. И эта бесплодная, иссушённая почва – была жизнь Антона. Целую вечность предстояло брести ему по мёртвой земле, рассматривая каждую трещину. Эти трещины были не только под ногами, но в его душе, в его сердце. Потому что каждая из них была той минутой, или даже той мыслью, когда Антон предал самого себя, или предал другого.

Отступил от себя такого, каким должен был быть. Сказал злое, или сделал недоброе, подлое. Что может тогда и не казалось таким, но ясно он понял это сейчас.

И не было тут надежды увидеть что-то другое. И это была – вечность. И это был – ад.

Глава 13

Психиатрическая клиника расположилась за городом – в таком тихом месте, что даже деревни никакой к ней близко не было. Внешний её облик заставлял скорее вспомнить о старинной усадьбе или монастыре. Двухэтажные корпуса выложены из красного кирпича с нарядной белой отделкой, окна – арками. Там и здесь по стенам вился девичий виноград или плющ. Просторный сад, обнесённый, правда, надёжным высоким забором. Почти всем больным можно было здесь гулять. Сосны и клумбы, заросли сирени и орешника. Воздух кристально свежий – как в лесу. Было тут очень тихо, и в любое время года слышалось пение птиц.

Лечение тут стоило очень, очень недорого. Тем не менее, свободных мест не было. Почти все пациенты клиники были людьми с отклонениями незначительными. Народу победнее и в голову не пришло бы лечиться от плохого настроения и жизненных проблем. Кто отпивался бы валерьянкой, кто – корвалолом, кто – водкой, кто плакал бы подруге в жилетку. Но те, кто приехал сюда, имели деньги, время и желание, чтобы позаботиться о своём здоровье, и соглашались на месяц заключить себя в отдельную палату со всеми удобствами. Тут имелся и отдельный санузел – а кто бывал, тот знает, как мучительно справлять нужду в общем санузле обычной психушки, где одновременно могут собраться человек пятнадцать – и никаких перегородок. А уж запах, несмотря на долгие уборки и хлорку, льющуюся рекой – мама дорогая! В палатах стояли холодильники и телевизоры, и не было решёток на окнах. Правда и запоров на дверях тоже не было.

Больных каждый день осматривал врач – причём не казённо, на бегу скользнув взглядом по лицу человека, мало что соображающего после лекарств. Нет, врач заходил, присаживался и расспрашивал – как прошла ночь? И не беспокоили ли тревожные сны? И как настроение – нет ли желания плакать? Аппетит? Можно было пожаловаться. Можно было спросить, какие лекарства тебе назначены и как они действуют.

Телефоны, планшеты и ноутбуки отбирали, но давали книги – библиотека в клинике была хорошая. А домой можно звонить по телефону, который находился возле поста медсестры.

Лечился тут студент с социофобией – переучился во время сессии, и теперь боялся выходить на улицу, и ходить по институтским коридорам, заговаривать с сокурсниками, а уж выступать перед аудиторией для него и вообще было невозможно.

Лежала старая дама с депрессией, всем на свете обеспеченная, но покинутая родственниками, которых она ненавидела, но, тем не менее, жаждала их услуг, жаждала ухода. Ей и здесь всё было не по нраву – вплоть до цвета постельного белья – он её раздражал. Ей разрешили своё бельё, но некому было его ей принести. Тогда медсестра в свободное время поехала и купила – то самое, небесно-голубое, о котором мечталось старушке. Так же ей покупали по заказу соки, фрукты, но выражение недовольства так и не сходило с её лица. И если бы она не увлеклась одним из здешних докторов, бывших, по крайней мере, вдвое младше её...

Лежал крепкий мужик, инструктор по горному туризму, которому в своё время психиатры сломали жизнь. В школе был кандидатом в мастера спорта, отличником, одним из тех редких ребят, которые рвутся в армию и хотят служить в спецназе. Что делать после армии тоже ясно – спорт, а с годами – тренерская работа. И любимая девушка готова была его ждать. Но на медкомиссии что-то не понравилось врачихе, парня послали для освидетельствования в психо-неврологический диспансер. И непременно вызвалась сходить с ним мама, чтобы «не дать врачам сбить сына с толку». Психиатресса задала вопрос, причём как раз маме – когда в последний раз ребёнок описался? Мама припомнила – в четыре года, после того, как выпил два литра сока. Хотя на самом деле чадо перестало дуть в кроватку уже года в полтора. Психиатресса, не долго думая, написала диагноз «энурез», послала на обследования, и пошло-поехало. Нашли какие-то «импульсы», «судорожную готовность», не только от армии освобо-

дили, но и спортом заниматься теперь было нельзя, машину водить – нельзя, секс нежелателен...

Надежду на спортивную карьеру пришлось бросить, девушка ушла, через несколько лет парень с отчаяния уехал в горы, положил с прибором на все медкомиссии. Женился на подруге, которую там, в горах, нашёл. Когда начал строить дом и машина потребовалась до зарезу, он пошёл-таки на комиссию, решив, что если ему и сейчас откажут, он попросту купит права. Его обследовали заново, и выяснили – совершенно здоров, был и есть. Врачебная ошибка. «Они сломали тебе жизнь» – сказала постаревшая мама. И взрослый мужик рухнул в такую депрессию, что близкие привезли его сюда.

Самым «сомнительным», близким к психу, тут считался Вова-арбуз, который временами был уверен, что в его явно пивном животе притаился этот самый арбуз. Сам Вова не боялся, просто смеялся над этим забавным фактом. Заходил в палаты к другим больным, задира л майку, предлагал щелкнуть его по животу, определить «зрелость».

Но было в больнице этой и ещё одно отделение – одноэтажное, неприметное. Стены его скрывала вьющаяся зелень. И не очень бросалось в глаза, что на окнах – решётки. Вот тут были и железные глухие двери, и казённое бельё, и стойкий запах, которых бывает в помещениях плохо проветриваемых, откуда люди не выходят месяцами. Палаты и тут были индивидуальными, тоже без замков. Но этим больным медсёстры не поясняли, какие лекарства им колют. Не разрешали гулять по парку. Пациентам не говорили, сколько они здесь пролежат, и им не позволялось звонить по телефону.

Достоинств у этого отделения было три. Больных хорошо кормили. За ними вполне неплохо ухаживали – все они были чистыми, подстриженными. Их халаты и постельное бельё также не вызывали нареканий. Но самое главное – тут они могли находиться годами, и никак не докучали никому из близких – если близкие были готовы оплачивать их содержание.

С остальными больными настоящие психи никак не пересекались. Разве только те иногда, во время прогулок, видели в окнах пятна бледных лиц. Если такой пациент умирал, его и похоронить могли тут. В самом деле – не везти же усопшего родственника в город, не тревожить родных, чтобы они были вынуждены предъявлять всем свою мать, или дядю, или брата, которые оказывается, остаток жизни провели в психушке? Так что гораздо проще было устроить всё здесь, тем более, что и крематорий находился неподалёку, как и одно из сельских кладбищ.

Теперь предстояло решить – куда поместить Аню, и, похоже было, что доктор Гаврилевский склонялся именно ко второму варианту.

Аня сидела посреди его кабинета, на стуле, в тёмном своём балахоне, волосы растрёпаны. Антон – у входной двери. Ему нужно было всё видеть, отчитаться потом обо всём Елене Львовне.

Бумаги, согласие на лечение – всё было уже подписано предварительно. По просьбе Антона копии документов выслали им ещё в их Рождествено.

– Вы понимаете, где вы находитесь? – спрашивал Гаврилевский Аню.

Она посмотрела на него и ничего не ответила. Сжала руку в кулак, поднесла к лицу, стала тереть ею губы, нос... Она казалась полностью погружённой в свои мысли.

– Вы понимаете, кто я? – снова спросил доктор.

Наконец, она взглянула на него – мельком, вроде бы даже со скукой.

– Ты? Разрушитель, – сказала она небрежно.

Антон это расслышал ясно, а доктор переспросил:

– Кто я?

– Жиронкин ведь какой талант был, – сказала Аня, и тон её был таким усталым, как будто она знала доктора тысячу лет, и тысячу раз вела с ним эти разговоры – так к чему же заново? – Ты его на какие лекарства посадил? Только за то, что он считался тогда – в советские

годы – неблагонадёжным. После твоих таблеточек он ни бэ, ни мэ... овощ. А картины его великолепные в коммуналке сгнили на чердаке.

Антон видел, как побледнел доктор, как снял он очки:

– Но позвольте, вы что, его знакомая? Почему мне не сказали? И зачем вы тогда сюда...

– Теперь других подбираешь, кого твои коллеги покалечили? Богатеньких, Богом обиженных... И зарплата у тебя теперь за сто тысяч, и про домик в Австрии подумываешь – двухэтажный, под зелёной крышей. А когда ты Митьку Лютикова зевнул? И что? Приснился он тебе пару раз, и успокоилась совесть? «Вот эти капельки постепенно наращивайте, – передразнила она голосом, так похожим на голос доктора, что обомлел даже Антон, – Мать его тебя до сих пор проклиняет – ведь Митьку-то надо было хватать, да за закрытые двери, под круглосуточное наблюдение. Не успели подействовать твои антидепрессанты – через два дня Митька повесился в гараже. Шестнадцать лет ему было! А мать – спилась.

Гаврилевский неверной рукой нажал на кнопку звонка:

– Первую палату приготовьте, и заберите пациентку.

И посмотрел на Антона почти с ненавистью:

– Я не знал, что вы собирали на меня досье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.